

Марина АХМЕДОВА

ЖЕНСКИЙ ЧЕЧЕНСКИЙ ДНЕВНИК



Марина Магомеднебиевна Ахмедова

Женский чеченский дневник

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=625005

*Марина Ахмедова / Женский чеченский дневник: АСТ, Астрель; Москва;
2010*

ISBN 978-5-17-068653-7, 978-5-271-29349-8

Аннотация

Начинающий фоторепортер Наталья Медведева отправляется на первую чеченскую войну в 95-м. Тогда она еще не знает, что проведет на войне семь лет. В одну из первых своих поездок она знакомится с Шамилем Басаевым. Она еще не знает, что судьба или война даст ей шанс на протяжении нескольких лет следить за перевоплощением этого тогда еще ничем не примечательного полевого командира в террориста номер один. Не знает, что встретится с Дудаевым, которого в очередной раз объявят погибшим. Что попытается спасти из плена российских военнопленных.

И каждый раз будет пытаться самой себе ответить на вопрос: что ее держит на этой войне? Что?

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| От автора | 4 |
| Земля | 10 |
| Лес | 24 |
| Коридор | 32 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 93 |

Марина Ахмедова

Женский чеченский дневник

От автора

Героиня этой повести первой задумала книгу о себе. Моя подруга и военный фоторепортер Наталья Медведева уехала работать в Чечню, как только там началась война. Длительными наездами она продержалась на войне почти семь лет. К концу второй чеченской кампании ее в лицо знали многие боевики, а сотрудники ФСБ называли «Шварцнеггером в юбке».

Наташа часто рассказывала мне те военные истории. Я и сама когда-то жила на Кавказе, и иногда в ее рассказах узнавала места, в которых бывала много раз. Мы говорили о том, что могли бы пересечься во времени и в пространстве, но не пересеклись.

Она так часто говорила о войне, что иногда мне казалось, все ее истории случились со мной, они как будто стали частью меня.

Однажды мы возвращались в Москву из Вологды. Наташа была за рулем. Началась гроза, потемнело, по машине уда-

рил крупный град. Мы еще не доехали до Ярославля. Перед нами шла тяжело груженная фура. Ураган срывал с нее доски и бросал их нам под колеса. Водитель фуры не давал себя подрезать.

– Ну что, ты книжку про меня напишешь? – спросила Наташа.

– Ну...

Всерьез я никогда не собиралась эту книгу писать. Для того чтобы написать повесть о войне, казалось мне, нужно войти в особое состояние. Но начиная с этого дня мы много говорили об этой книжке – как да когда я ее буду писать. Одним словом, трепались – я-то знала, что писать ее не стану, и Наташа, наверное, в глубине души тоже это понимала. Но она привезла мне свой архив – чемодан с «чеченскими фотографиями», дисками и негативами. Я сунула его под кровать, иногда доставала и разглядывала фотографии. Они так долго лежали у меня под кроватью, что тоже стали частью меня.

Однажды Наташа, увидев, как я достаю чемодан, сказала: «Я сама сделала эти фотографии, но не смогла бы держать такой ужас у себя под кроватью...» Но я же говорю: ее фотографии стали частью меня.

Потом меня отправили в командировку в Якутию на поиск якутских шаманов. Был конец осени и крайне холодно. По Лене ходили последние катера. Утром я пришла в Центр духовной культуры в Якутске. Ко мне подошла маленькая

пожилая якутка. Положила указательный палец себе на запястье. Прислушалась.

– Передай Наташе... – начала она.

– Вы кто? – оборвала ее я.

– Шаманка, – ответила она. – Мы встречались с Наташей десять лет назад в Моздоке.

– Простите, а что вы в Моздоке делали? – спросила я, напирая на слово «Моздок».

Эту маленькую женщину из северного города, в котором у меня даже сопли в носу замерзали, по-моему, было никак невозможно соотнести с Моздоком.

– Как что?! – возмутилась якутка. – Бомбы сдерживала!

Она, держась пальцем за запястье, ушла в мое прошлое, из него – в будущее. А в конце спросила: «Ты когда книгу будешь писать?»

Моздок меня сильно смущал. Я позвонила Наташе. Сначала она долго молчала, потом сказала: «Так это была якутка, а я думала, японка».

Сцена ее встречи с якутской шаманкой описана в повести. Я надеюсь, она мне удалась, ведь я своими глазами видела эту женщину много лет спустя. А дальше случилось то, что Наташа называла знаками. Эти знаки прямо преследовали нас – я пересекалась в пространстве с ее людьми, с которыми ну никак не должна была пересечься.

– Ну что, ты будешь писать или нет? – спрашивала Наташа.

Я придумала еще одну отговорку – в Чечне я была, но теперь, чтобы уже основательно засесть за книжку, мне нужно съездить туда еще раз, пройтись по тем местам, где бывала Наташа – Ведено, Шали, Урус-Мартан, освежить картинки в памяти.

В Чечне в то время было беспокойно. Хотя там всегда беспокойно. За день до моей поездки Наташа разволновалась и завела разговор с Богом. У нее своя манера с ним общаться, она всегда пытается с ним сторговаться.

Мы приехали к часовне Святой Матроны Московской на Даниловском кладбище. Над часовней растет большое дерево, и на нем пачками сидят голуби. Понятно, что площадка под ним вся покрыта голубиным пометом.

Наташа встала под дерево.

– Господи, – очень серьезно сказала она, – если Маринку в Чечне убьют, пусть голубь на меня насрет...

Через несколько минут она вынесла решение: «Езжай».

Я поехала. Голубь не насрал.

Книга написана. Но когда я к ней, наконец, приступила, Наташа уже переехала в Америку. Она звонила мне каждый день.

– Я пишу... – многозначительно говорила я, намекая на отсутствие времени.

– Ну пиши... – блеяла в трубку Наташа.

Она начала вспоминать. Все новые и новые подробности, истории. Она будила меня звонками по ночам (в Америке

в это время день) и замогильным шепотом сообщала: «А я, знаешь, еще что вспомнила...»

Она вспомнила, как снимала командира наемников Хаттаба (и его фотографии тоже лежали у меня под кроватью...), вспомнила историю про красную шапочку и встречу с Юрием Будановым, но все это уже не вошло в повесть. В Наташе что-то включилось, она потеряла ощущение времени и пространства, ей казалось, что она снова там. Воспоминания о событиях пятнадцатилетней давности текли из Америки в Москву. И я поняла, что теперь она будет вспоминать бесконечно, и попросила ее перестать.

Когда повесть отправилась в издательство, Наташа не смогла оправиться оттого, что книжка, о которой мы столько говорили, уже закончена, и кувалдой сломала стену в своей квартире.

– Буду делать барную стойку, – объяснила она обеспокоенным соседям.

К ней с жалобами пришли американцы из аналога нашего ЖЭКа. Наташа честно призналась: «Ай донт спик инглиш». Следом к ней пришли экскурсанты из соседнего квартала – посмотреть на «русскую, ломающую стены» и ходят до сих пор.

Теперь барная стойка почти закончена. Больше ломать нечего. Наташа предлагает всем желающим сломать стену и у них, причем бесплатно сломать, но никто не соглашается.

– Зачем ты мне все это напоямила? – жалуется она.

Как будто она забывала...

События этой книги не являются вымышленными. Изменены некоторые имена, а некоторые герои перенесены в другие места. Но основные герои, их слова и поступки являются реальными, точными, и автор несет ответственность за все совпадения.

Земля

Земля была твердой. Наташа лежала ничком, коленками вжимаясь в нее. Но земля была твердой и не впускала ни на сантиметр.

– Я поставлю свечку, – сказала она, касаясь губами земли и чувствуя скрип ее крупинок на зубах. – Я вернусь и поставлю свечку, – она хотела поднять голову, но вместо этого обхватила ее рукой.

В Самаре земля мягкая – копнешь, рассыпается теплой рыхлостью, и на вкус другая. Оказаться бы сейчас в Самаре, подумала Наташа, с отцом на огороде. Хотя копать в земле она не любила. А лучше в Москве – в общежитии, на диване. И смотреть телевизор.

Земля вздрогнула – судорожно, всеми крупинками. Так вздрагивает человек, узнав, что в темной комнате не один. И, наверное, эта судорога отдалась где-нибудь на экваторе. А может быть, на противоположном конце дна шара лопнуло и забила нефть – там, где ее не ждали. Земля толкнула Наташу в живот. Живот свело.

Наташа пошарила рукой, нащупала фотоаппарат и положила его под грудь. Приподнялась, опираясь на локти, чувствуя под ними твердь. Слишком здесь твердо. Или земля не принимает чужаков?

В нее полетели комья земляного града, и она заплакала.

– Я поставлю свечку, – прошептала она и испугалась – в шепоте не было просьбы, только злость и раздражение оттого, что первое обещание не было ни услышано, ни принято, как само собой разумеющееся. Земля продолжала ходить.

– На хуя мне все это?! – закричала Наташа, поднимая голову. – Вернусь в общагу, буду смотреть телевизор!

– На хуя?! – спросила она еще раз у неба, но даже в такой форме вопрос не был услышан.

Она сжала корпус «Никона». Пальцы из пластилина – не слушались. Посмотрела в окошко видеоискателя, но прицеливаться не стала. Может быть, это ее последний кадр – так она думала. Нет, не станет его снимать – вставать с земли слишком страшно. Снова ткнулась лицом в землю, подsunула «Никон» под грудь, обхватила голову руками, пожевала крупинки и заскулила про свечку. Не надо было утром мыть голову. Не надо было!

Свистело и ухало. От свиста все внутри обрывалось. Казалось, он звучит в ней самой – в ней рождается, в ней разрывается. Сердце останавливалось и не шевелилось. Сжавшись в твердый комок, ее сердце с силой стучало о ребра, выталкивая фотоаппарат из-под себя. А она сгребала его, прижимала к груди.

Страх набухал в пальцах, растягивался по венам, полз к пупку, собираясь в кулак. Врезался тупыми костяшками в мягкие стенки ее живота, и Наташа вздрогнула, когда поняла, что земле тоже страшно. Она прижала к ней губы, как

прижимают их к чьему-то уху, и прошептала: «Поставлю свечку...» Ее голос прозвучал мягко, и, конечно, он был мягче той земли, на которой она лежала. И дальше Наташа шептала про свечку, про Бога, диван и общагу, обещая все это дрожащей земле, успокаивая ее и себя.

В голове пронеслись вагоны, и она отказалась верить в то, что в московском метро могли ходить поезда. Не могли. Москвы больше нет, потому что в двух сутках езды от Москвы она, Наташа, лежит ничком и принимает схватки земли, и ей кажется, что земля скоро родит. Земля стонала, глубоко вытягивая воздух, на ней появлялись воронки.

– На хуя? – тихо, одними губами выругалась Наташа по привычке. – Зачем мыла голову?

Мозг не работал. Лежать и шептать. Прошлого не было – она всегда лежала на этой земле, успокаивая ее и себя. Картинки брались из ниоткуда – пустой мозг не мог их произвести. Они плыли у нее перед глазами – кадры, кадры, кадры.

Ветер метет по платформе раздавленные жестяные банки, окурки, фильтрами впитавшие лужи. Банки скрежещут. Поезд. Наташа в балоньевой куртке. Ее никто не провожает. Мозг ловит кадры окошками глаз. Крык – картинка останавливается, и Наташа стоит у поезда, и под ногами окурки, а на ней голубая куртка. Ее мозг так устроен – делит время на кадры. Крык – выхватывает их из времени, не щелкает, а картавит, как ее «Никон». И Наташа стоит у поезда, который сейчас тронется и уйдет по резким полоскам с Павелец-

кого вокзала туда, где теперь грозно. За двое суток переползет железной гусеницей из одного мира в другой. Оставив «Огонек», «Независимую» и плохие кадры, недостойные даже архивов ее памяти. А она отправится искать смысл, хотя смысла во времени, поделенном на тридцать ее лет, никогда не искала. Ни в кругах под глазами в зеркале утром, ни в дыме сигарет, которых было ровно двадцать две каждый день, ни в воде, уносящей в слив раковины общаги всю бессмысленность, одинаковость, смытую с лица вместе с косметикой и выплюнутую изо рта с зубной пастой.

Смысл посмотрел на нее уже с первой фотокарточки, сделанной на этой маленькой, но твердой земле. Она нащупала его глазами – не поняла, не узнала, а нащупала. Кадр разделился на четыре части. Крик – «Никон» это поймал. А потом каждая часть разделилась еще на четыре. Наташа помножила четыре на четыре – шестнадцать кадров в одном.

Она помнит женщину на том снимке – старуху, если точнее. Помнит все ее шестнадцать частей. Старуха стоит у окна. Четыре стекла рамы стянуты белыми бумажными полосками крест-накрест – чтобы не лопнули, когда земля вздрогнет в очередной раз. Наташа приближается с «Никоном». Выхватывает кадр, «Никон» делает крик, время останавливается, и теперь будет всегда смотреть глазами старухи с черно-белого глянца.

Наташа смотрит сквозь стекло в черно-белые глаза, разделенные бумажной полоской, и видит в них товарные со-

ставы, черные пальцы деревьев, пустую зиму и вереницу не своих предков, уносящих на спине рюкзаки, полные смысла. Видит землю, которая трясется от страха. Она припадает к земле в чужих глазах, растягивается на ней в полный рост и спрашивает себя, зачем она сюда снова приехала.

Поезд тронулся, уехал от мелких крупинки снега. В Москве зима, а здесь – осень. Наташа прошуршала ногами по чужой поздней осени. Никогда прежде под ее ногами не было столько опавших листьев. Слоистым одеялом они прикрыли жителей города, и их сон не нарушили ее кроссовки, бороздящие листья в поиске кадров.

Крык. В церкви тепло, надышали, нажгли свечей. Наташа глядит на свое отражение в стекле иконы. Она любит останавливать отражения.

– В общем, так, – говорит она и смотрит в свои глаза на иконе. – Вот тебе свечка, и пусть я найду смысл.

Она молчит, стоит тихо, как будто хочет услышать в ответ: «Так уж и быть». Задирает голову в сводчатый потолок. Где тут Бог? Где смысл? Надышали – жарко в куртке.

– Вернусь, еще поставлю, – обещает она, на всякий случай продолжая глядеть вверх – если Бог где-то есть, то в верхней точке купола, вокруг которой циркулируют желания, закручиваясь в спираль. Туда уходят струйки дыма от горящих свечей, собираясь из разных ячеек подсвечников снизу, сливаясь в одну широкую струю человеческих просьб – одна среди них Наташина – и поднимаясь к куполу, переливаясь

там, у верхней точки, наивысшим смыслом. Если он есть...

В начале зимы она вышла из города, грозность которого смотрела ей вслед пустыми глазницами. Вернулась на Павелецкий. А поезда в метро ходили. Ходили-ходили-ходили. И ей показалось, они проносятся у нее в голове, чертя параллельные полосы на мягком мозге.

Она прислонилась к дверям вагона, поезд въехал в темень туннеля, и стекло охладило спину. Наташа смотрела на лица. Лица смотрели на нее. Грязная куртка, оттопыренные карманы брюк. От нее пахло чужой землей. Чужая земля въелась в поры одежды. Застыла кадром в ее глазах. Рюкзак с Никоном давил на плечи. Смысл оттопыривал карманы.

– Они думают, я – бомж.

Они просто не знают, сказала она себе. Не знают, что в двух сутках езды есть другая земля, что ветер смел листья, но снег не пошел. Ветер смел листья, обнажая кадры, наполняя их смыслом, оттопыривая карманы.

– И без одеяла уже не холодно, – сказала она лицам, и ее собственное лицо сморщилось, горло сдавило голос, и он полез из него плоский, как лента пленки для ее фотоаппарата.

– А если бы они знали... – подумала Наташа и поглядела лицам в глаза – пусть видят, пусть знают. Крык-крык-крык – шестнадцать частей, черные пальцы деревьев, ничком в полный рост.

«Не может быть», – думает Наташа, когда смысл из ее глаз стучит им в спину, но «осторожно, двери закрываются», и

одни лица сменяются другими – бессмысленно-одинаковыми.

И поезда ходят, и супермаркеты работают. Но ни кадров, ни смыслов.

– На хуя? – спрашивает она по привычке, когда смысл отпечатывается черно-белым на глянцеватых страницах «Огонька» и грязновато-желтых – «Независимой». Она нюхает кадры, отснятые ее «Никоном», они не пахнут землей. Она смотрит на листья – их давно унес ветер, а они зависли во времени, вырванные из него криком.

Криком Наташа поднимается к наивысшей точке, но потом опадает, снова припадает к земле – если смысл есть, Бог ее слышит.

– Поставлю свечку, – шепчет она.

Дорога похожа на победу – пикой начинается на равнине и расходится от нее буквой V, рукавами коричневатой земли обнимает округлую гору с хребтами холмиков, похожими на доисторических рептилий. Наташа стоит в самом низу, на равнине, ловит Никоном высшую точку. Два изогнутых дугой рукава обнимают гору, которая не рвется вверх, которую земля не сумела до конца вытолкнуть из себя. Конец лета. Пыль, поднятая грузовиками. Под ней задыхается трава.

Наташа выбирает дорогу. Рукава не сойдутся в одной точке. Рукава упрутся в высокую гору. Наташа поднимется на ее вершину и сверху увидит равнину и два рукава победы. Это – хороший кадр. Из ее глаз он уйдет на пленку, с негатива –

на бумагу, с бумаги – в чужие глаза.

За горой будет река, сухая летом, но полноводная осенью, уносящая опавшие листья, и даже в кроссовках нога заскользит по водяной слизи суровых камней. Холодная вода обнимет колени, утяжеляя карманы, и потянет за собой по течению вниз. Наташа поднимет над головой «Никон», другую руку вытянет в сторону, чтоб не упасть. Холод потянется от кроссовок к горлу, а за речкой лес, и память туда еще вернется.

Она давит сердцем на «Никон», закрывая голову руками. Время проносится быстро, но ей кажется, оно провалилось в воронку или зацепилось за что-то, хотя земля голая – ей не поймать время ни камнем, ни деревом. Но оно проносится, показывает Наташе кадры из прошлого, и ее руки замерзли, у шерстяных перчаток нет пальцев – сама обрезала. Она греет руки о пластиковый стаканчик с кофе, налитым из термоса, хотя знает, что растворимый выводит из костей кальций.

Наташа выглядывает из металлического контейнера, не отделимого от зимы, она ищет в чужих лицах не смысл, а намек на покупательную способность. Увидев его, она закричит: «Дубленки, пуховики!» – и азербайджанец из соседнего контейнера скажет, что в Лужниках ее голос самый громкий. Негнущиеся пальцы охладят кофе, потрут купюры, отсчитывая сдачу. Никон ей слишком дорого обошелся.

Мозг, прикрытый испачканными в земле руками, сортирует похожие кадры, но эти снова ложатся на черно-белую

пленку – других цветов Наташа не может здесь разглядеть. Чужая зима белей, снег широкой дороги не искрится, напуганный суровостью гор. А Наташа напугана белизной, которой не было ни в Самаре, ни в Москве. Она стоит в начале дороги, обхватив пальцами корпус фотоаппарата, и смотрит в спины черных людей, медленно идущих по снежной дороге, но не оставляющих за собой следов. Широкие брюки заправлены в голенища сапог, пальцы теребят четки, свисающие до колен, посохи разбивают снежинки, но никаких следов на снегу – только черно-белые кадры в глазах Наташи.

Горы медленно отползают по бокам дороги. Наташа крадется вперед. Ей хочется дотянуться до смысла, застывшего невидимым панцирем на спинах людей, еще помнящих казахстанскую зиму. Балоньевая куртка не греет, пуховики и дубленки распроданы. Человек в лохматой папахе оборачивается, она застывает – за ней тянутся следы. Наташа смотрит в его глаза, мысленно разделяя их бумажной полоской. В его глазах снег краснеет, взвивается снежинками, камнями и мясом.

Идущие делают остановку там, где две горы подножьями сходятся в букву V. В выемке снег еще белей. Орлы широко раскрыли крылья, и когда Наташа задирает голову вверх, они пролетают в ее глазах от одной вершины к другой. Крик.

Белое одеяло собрано в сугроб, под ним – коричневая земля, твердая, как стенки контейнера. Люди долбят ее посохами. Припадают к земле правой ногой, давя на нее всем те-

лом, всем грузом плеч. Небо без солнца и облаков сливается со снегом, но искрится маленькими серыми точками.

Они становятся в круг и идут по нему друг за другом, сначала медленно, хлопая в ладоши, припадая на ногу, раскачиваясь из стороны в сторону, и над выемкой – гул мужских стонов. Темп убыстряется, стон растет, поднимается спиралью к вершинам, возвращается вниз эхом, Наташа разбирает в нем самый громкий, резкий и отчетливый, и ей кажется, что за горой воют волки. Ноги мелькают быстрее, круг плотнеет, люди бегут друг за другом, дергают плечами и папахами, долбят землю, будто хотят разбудить кого-то спящего под ней или ее саму: «Ла илахи ил аллах. Ла илахи ил аллах».

Крык – ноги замирают, картинка останавливается. Это – хороший кадр.

Наташа перематывает пленку их глаз – кадры, кадры. Она слышит звуки и чувствует запахи. Она слышит чужие голоса.
– Сегодня метель, – говорит старик в папаше вчера, – они не прилетят.

Они летят, оставляя дыры в снежной завесе, и небо не успевает штопать их новыми хлопьями. Свист давит на барабанную перепонку, инфразвук расширяет сердце двумя килограммами страха – больше оно не вместит.

Они прилетели, снег взвивается, опускаясь на землю чужими фрагментами, снежинками плоти. Просьбы соединяются вместе, поднимаются закрученной спиралью, но до высшей точки не долетают – исчезают в дырах. Если Бог есть,

он не слышит.

– Не понимает он ваше ил аллаху, – говорит Наташа, лежа ничком поздней осенью, и снова скулит про свечку. Ее никто не слышит.

Она идет по белому снегу, по чужим глазам, по вчерашнему дню. Садится рядом с тленком, вытянувшим хвост и копыта, смотрит в мутные его глаза, видит в них отражение вчерашнего дня, сердце, не вместившее страха, и мычит, раскачиваясь. Крык – время остановлено, заморожено, слепок с него облетит весь мир, но ничего не изменит.

В выемке время хоронить мертвецов. Вечером лохматыми папахами посыплются крупные снежинки. Земля и ее хребты накроются снегом. Ему не суждено быть чистым еще несколько зим, но Наташа об этом пока не знает.

Лежа на земле, она вспоминает Литовченко Владимира. Что хотите, а этот кадр она не отдаст. Никогда. Не растиражирует даже ради высшего смысла. Он принадлежит Литовченко родителям, и она их найдет, если у нее будет время. Она его ждала – этот кадр. Чтобы не явно и без фрагментов. Чтобы энергетика, чтобы деталь и никакой крови. Знала – лишь на таких талант оставляет свой отпечаток, и верила в свой талант.

Литовченко Владимир – большими красными буквами на бетонной стене. Ниже, буквы поменьше – погиб. Буква «г» выше других. Еще ниже – цифры: 13.8.96. 20.30. В момент смерти Литовченко кто-то взглянул на часы и остановил вре-

мя на бетонной стене красной краской. Только родителям достанется этот кадр – не труп, не фрагмент сына, а с точностью зафиксированное время его смерти. И каждый год тринадцатого ноль восьмого ровно в двадцать тридцать их сердца будут останавливаться, придавленные бетоном с Наташиного снимка. Наполненные больше, чем могут вместить.

– Владимир Литовченко, – зачем-то сказала Наташа, как будто звала.

Она подошла к бетонной стене, заглянула в прямоугольную дыру на ней, взгляд выхватил кадр. С кадра на нее смотрел дом – пустыми своими глазницами. Она опустила «Никон», не стала шарить глазами по окнам – все равно что снимать смертельно больного. Отошла от стены, на одежде осталась красная краска – надпись сделали только что.

– Дай мне время, – попросила она, оторвав глаза от земли, на которой лежала.

Время упало в воронку, момент затянулся. Если она сейчас встанет и сделает кадр, талант на нем не отпечатается. Увидев, скажут одно – в нужное время в нужном месте. Такие кадры – железо и порох врезаются в землю, земля летит комьями, дымовой гриб над воронкой – приносят фотографию славу в мире больших и малых схваток. Фотограф-герой – он там был, лежал, прикрывая голову рукой, отсчитывая недолет и перелет, нажимал на кнопку прямо в лицо смерти, снимая ее в разных позах, устраивая ей целую фотосессию, и нервы его – стальные веревки – не порвались, когда смерть

с силой дергала за них. Фотограф – герой: лежал, жал. Талант не отпечатался ни на нем самом, ни на его снимке, но это неважно – время и место подобраны верно, кнопка под рукой.

В затаившемся времени Наташа в очередной раз спросила себя – смысл или слава? Смелость или общага? Покупательная способность тех, кто растиражирует ее кадры, вынутые из чужих глаз или выброшенные из сердца, потому что не вместило? «Огонек» или «Независимая»? Или кто первый? А может, «Коммерсантъ»? Талант или удивление? После школы она уехала в Москву, поступила в техникум и занялась озеленением. Сажала траву, копалась в земле, удобряла ее говном. Не считала себя умной – способной получить то, что считалось высшим образованием. Могла постричь розу, копать в земле не любила, раскидывала по ней говно, а потом собирала цветы, жила в общежитии, копила на фотоаппарат, торговала на рынке, умной себя не считала, ругалась матом, молчала, курила, думала, но не могла найти для мыслей подходящей одежды из слов. Ей легче было обложить смысл хуями. Ее слова были голыми и оттого глупыми и смешными. Она могла нарисовать Христа на жестяной банке. Она могла пойти еще дальше – набить банку двадцатью двумя окурками. Она могла выставить ее на всеобщее обозрение, да хоть в контейнере, забитом дубленками и пуховиками. Могла позвать зрителей голосом самым громким в Лужниках. Она могла их удивить, но не смогла бы спутать

чужое удивление со своим талантом. Она называла современное искусство говном, из которого не расти розам, и, вообще, была бабой базарной, не способной понять, зачем она приезжала и возвращалась.

Лес

Ни грибов, ни ягод, хотя попадаются хорошие кадры. Лес хрустит под ногами. Началась зима, снег еще не выпал, деревья не защищают от холода, но лес населен людьми. Фотоаппарат их не видит, не берет, хотя Наташа прицеливается в разные стороны. Вечер опускается на тонкие стволы деревьев, окутывая их темным сгустком воздуха.

Наташа садится на сырую землю, прислоняясь спиной к стволу, вынимает из кармана зажигалку – карманы набиты зажигалками и фотопленками. Подносит огонек к земле, она не горит, только бьет в нос сыростью – листья раскрошились, смешались и уже начали гнить. Волков здесь нет, но ей слышится их вой.

Она разглядывает природу, которой уже не видно. Разглядывает те кадры, которые засели в ее памяти до того, как в лес пришла окончательная ночь. На этой чужой и твердой земле деревья тоньше и ниже, чем в средней России. Им не нужно тянуться вверх, чтобы выхватить из-за облачности блики света – днем здесь больше солнца.

Птицы в тот день не пели – или это она их не застала. Где тут прячутся люди и сколько еще нужно пройти, чтобы набрести на тех или других? Она и сама не знала, к кому ей больше хотелось попасть. За кого ей больше заплатят – за тех или за других? Где ее ждут лучше кадры? Где больше

смысла?

Она привыкла к запаху трупов, ее не тошнило, когда сизые тени их испарений поднимались с земли, обнимали колени, хотя просить было уже не о чем. Мелкими молекулами забивали поры. Шептали о том, что война – негигиенична, но «Никон» шепота не разбирал, а сама Наташа давно перестала пользоваться дезодорантом.

В городе, когда-то считавшемся грозным, или там, где от него что-то осталось, Наташа ошиблась, решив, что земля умерла. В те дни она не представляла, сколько слоев нужно снять с поверхности земли, чтобы добраться до живого ядра. Земля умерла в схватках, так и не разродившись. Нефть собралась сгустившейся кровью в матке, но вытечет где-нибудь на экваторе – так думала она и складывала в архивы кадры, которые ее «Никону» было не разглядеть. Она сама будет их рассматривать, перетряхивать память, углубляться в кадры давно прошедшего всеми пятью чувствами, забывая о настоящем, живя только прошлым. Будет – когда все закончится.

Наташа постелила на землю куртку.

– Литовченко! – позвала она, когда из негоревших листьев поползли тени. Она удивилась – в лесу не было эха. Все умерло. Все сизо. Мерзли руки.

Ночью пошел дождь, холодные струйки текли по ее бугристым от мурашек рукам. Она легла на спину, вытянув руки по швам, сверху накрылась листьями, от которых стало еще холодней, прижала к животу «Никон» и сделала несколько

кадров ночного неба. Похоронив себя под гнилыми листьями на мертвой земле, она умирала, лежала и ждала. На кадрах отпечатались только звуки. Такие не продать, но... какой талант.

Потом они ее нашли и сказали: «Ну и вонища от тебя», а она не стала им объяснять, что ночью умерла.

Наташа обхватила коленями котелок. Погрела о него руки, закрыла глаза и совсем ненадолго ушла в Лужники, послушать азербайджанца. Гречка остывала. Лучше б кофе, хоть растворимый.

– Как звать? – спросила она молодого, похожего на братьев, которых у нее не было.

– Владимир, – ответил он.

– Литовченко? – уточнила Наташа.

– Вот дура, – сказал молодой. – Ну и вонища от тебя.

– Лучше б кофе, – ответила она, но кофе не было.

– На хуя? – спросил он Наташу.

– Хуй его знает, – пожала плечами она, понимая, что общага тут ни при чем.

Дождь пропитал землю, превратив ее в жидкое тесто. Его месят солдатские сапоги с налипшей на них тяжелой грязью. Размокнув, чужая земля стала липкой, превратилась в болото и, как казалось Наташе, тоже встала на защиту своих жителей. Моросило, пузырьки влаги садились на волосы, делали их седыми.

Кроссовки промокли еще ночью, и с утра она обмотала

ноги полиэтиленовыми пакетами. Здесь все было по-другому, не так, как дома, но где ее дом, она теперь не знала. Был ли он вообще или в ее случае дом – это там, где ты находишься в данный момент? Солдаты хотели домой.

Танковая дивизия российских войск застряла в грязи. Железо казалось безжизненным и холодным, Наташа не верила, что его удастся сдвинуть с места. Утирая рукавами носы, солдаты валили деревья по обочине дороги, подкладывали их под гусеницы, но танки увязали еще глубже. Земля превращалась в болото.

Жгли бензин, чтобы согреться. Наташа фотографировала. Два кадра, на которых Владимир, вышли особо удачными. Позже, рассматривая отпечатанные снимки, она попытается объяснить его взгляд, разобрать по частям то, что ей удалось вытянуть из этого молодого солдата.

Он не просто замерз и хотел домой. В его глазах собралась вся усталость солдат рода человеческого, вся бессмысленность схваток, происходящих на этой земле из поколения в поколение, от первой до последней. Но только теперь, после сотворения фотографии, в век высоких технологий и скоростных снимков, к которым не нужно готовиться, напрягая веки, чтобы не моргнуть, – стало возможным ухватить этот отпечаток времени и истории, мелькающий в глазах солдат всех времен и народов. Застывающий в них на доли секунды, незаметный ни им самим, ни фотографу, но растянутый во времени и доступный любому, находящемуся за

тысячи километров и за десятки лет, благодаря одному движению пальца. Только позже, в очередной раз вернувшись в Москву и раскладывая свежееотпечатанные фотографии на полу общаги, Наташа внимательно взглянет в глаза Владимира, рассмотрит в бессмысленности тот смысл, который искала, и прочтет в них вечный укор чужой земли, которая даже тогда стала Владимиру матерью. Она обопрется локтем о холодный пол, затаится сигаретой, которая будет бессмысленно долго дымиться в ее пальцах, осыпаясь пеплом на безбородое лицо солдата, и ей покажется, что, глядя прямо в объектив ее «Никона», Владимир хотел остановить взглядом войну.

— У бородатых уже была? — спрашивает он, когда она присаживается рядом и тоже греет руки о политое бензином тряпье.

— Нет.

В оттопыренных карманах ее брюк — бородатые люди. Они позируют с автоматами на плечах или прицеливаются в объектив — шутки ради. Их командир, которого в новостях зовут полевым, сидит на большом валуне, а вокруг горы и весна. Пахнет молодыми деревьями и черемшой, поют птицы, вдали слышны голоса. Звуки переднего плана — крыканье «Никона». Наташа делает кадр за кадром. Это — история. Командир подпирает коленями подбородок, на его бритой голове — блики и родинки в двух местах — одна бесцветная, выпуклая над левой бровью, другая коричневая на правом виске. Он

сорвал травинку, спрятал свои родинки под кожаной кепкой, улыбнулся. На всех ее кадрах он улыбался.

– Вас, журналистов, не поймешь, – заводит Владимир, и другие с ним соглашаются: нет, не поймешь журналистов.

– Вы же то с нами, то с ними... Вам лишь бы денег заработать. Суки вы продажные, – продолжает он и ждет, что Наташа вступит в спор, начнет доказывать, что она – третья сторона, ее дело – снимать, документировать историю, оттискивать ее для потомков. Он тут же опровергнет ее доводы, и ему есть чем крыть, потому что это нечестно, сегодня с нами, а завтра с ними, потому что те – против нас. А то, что объективная информация должна быть подана с двух сторон, – для него не аргумент, для них для всех не аргумент. Все это – хуйня, потому что сегодня он мерзнет, потому что в десяти километрах от них братишки из Пскова ждут подкрепления, а танки в летних гусеницах увязли в грязи. Потому что он хочет домой к маме, ему страшно, хотя в этом он никогда не признается, и потому что завтра его убьют, и срать ему хотелось на то, с каких сторон будет подана информация.

– Лучше давай я тебя щелкну – на память, – останавливает она его аргументы.

Владимир садится на кочку, протягивает руки к огню. Он не спасует перед прицелом большого круглого глаза. Он поднимет глаза от огня, испугается чего-то, может быть того, что они выдадут его слабость, поведет ими вниз, но не спасует – вернет их в нужную точку, упрется взглядом в объектив

и выдержит то мгновение, не моргнет. Наташа почувствует в его голубых глазах и слабость, и силу одновременно, и ей покажется, что, вырони она сейчас фотоаппарат, Владимир сможет удержать его на весу одним своим взглядом, которым позже Наташа попытается остановить войну. Но у нее ничего не получится. Впрочем, она это знала с самого начала. И не за тем приехала.

Крык.

Танки не двигались, расстояние между ними и псковскими разведчиками увеличивалось, и уже отсчитывалось часами пешего хода. День приближался ко второй половине, Наташа лежала в танке, который солдаты безрезультатно пытались протащить по грязи, хотя уже понимали, что разведчиков им не нагнать. Лес притих в ожидании схватки. Наташе казалось, что все – она сама, солдаты и танки – провалились под землю, и там в ее недрах начинался другой лес – неподвижный, тихий, безжизненный.

Она подложила под голову куртку. В танке пахло железом. Висок и плечо упирались в его твердое днище. Наташа представляла себя большой рыбой, которую залили соусом дня и законсервировали в металлической банке. Лежать на земле было удобней, но снаружи шел дождь. Висок начинал болеть, и она повернулась на другой бок, боясь снов, но со сном не борясь.

Старый сон вернулся, как только слух перестал различать внешние звуки. Она не считала, сколько раз он ей снился,

могла только назвать дату первого – июль 1995 года. Приснился он ей в Раю – на Мальдивском острове. Сон не был частым и не был редким. Она его не звала и не гнала. Во сне она всегда знала, что все прошло, закончилось и осталось в прошлом, отпечатанном десятками пленок – их она тогда не пожалела. Да и был ли смысл жалеть пленки, если свою собственную жизнь она готова была разменять на хорошие кадры.

18 июня 1995 года она оказалась в нужном месте в нужное время. Те, кого она в те дни снимала, предпочли бы родиться на экваторе.

Сон никогда не менялся, ведь был ею самой отснятой пленкой, на которой один кадр следовал за другим в строгой последовательности. Наташин сон увидела вся страна, Франция и Америка – в век высокоскоростных технологий со снов стало возможным снимать слепки и оттискивать их на бумаге.

Коридор

Сон начинался с полевой кухни. Объектив наезжал на солдатский котелок с кашей, в который Наташина рука медленно опускала ложку, зачерпывала горсть крупинок и так же медленно несла ложку ко рту. Ее движения не были растянуты замедленной съемкой – она действительно очень медленно ела кашу, находясь в первом оцеплении федеральных войск, окружившем больницу кольцом людей и бронетехники.

– Этой добавку не давать, – говорит военный со звездами на пагонах. Объектив наезжает на его лицо, выхватывает его пухлые губы, и в Наташином сне эти губы становятся размером с котелок, кривятся, верхняя губа прикусывает нижнюю. Наташа запоминает только губы, погоны и голос. Другие детали в памяти не удерживаются.

Она прошла через второе оцепление, дальше которого журналистам ход был закрыт. Дворами, домами, входя в дверь, вылезая в окна. Медленными движениями ложки ела третий котелок каши, наваленной с горкой щедрым поваром полевой кухни.

– Ребята, я два дня не ела, – сказала она солдатам-срочникам, осторожно снимающим оловянными ложками первый слой еще дымящейся каши, и сразу получила первый котелок. «Помедленней, помедленней, – говорила она себе, пе-

режевывая и глотая, — ты не жрать сюда приехала». Уже в ста метрах начиналась больница.

Вместительная способность ее желудка была превышена на втором котелке, но она давилась кашей — горсть за горстью, — чтобы растянуть время и выгадать шанс на хорошие кадры, которые могли случиться в любую минуту. И время дало шанс, и кадр был бы хорош, если бы она сама не стала его главным действующим лицом.

— Поест, и гоните ее, — отдают распоряжение губы, на нижней застывает капелька слюны. — Зачем вы ей кашу дали?

— Так ведь... сказала, что два дня не ела...

Наташа давит зубами зерна, они мягко рассыпаются, но она все равно перетирает их и запивает компотом из металлической кружки. Готовится ответить.

— Когда человек принимает пищу, — начинает она и, не договорив, спрашивает: — Вам каши жалко?

— Доедай и иди отсюда, тебе здесь быть не положено, — отвечает он голосом ровным, как его погоны, но в нем все же звучит металл. — Больше не позволю лапшу мне на уши вешать.

— Вы идите, погуляйте, — просит она, — не могу я есть, когда вы за спиной.

— Пока ты здесь, я не уйду, — теперь его голос отчетливо звучит котелком, по дну которого скребут ложкой.

— Да идите вы, иди... — она не успевает договорить — день заканчивается, толкнув ее в висок.

Следующий кадр – Наташа лежит на земле. Она открывает глаза и пытается восстановить фрагмент, выпавший из пленки ее памяти. Она сидела, ела, разговаривала, а теперь лежит на земле, фотоаппарат валяется в метре от нее. Поднимается на ноги, поднимает фотоаппарат, стирает с него пыль и вдруг понимает, что вокруг очень тихо, как будто ее окружает непроницаемая стена тишины, которую можно назвать абсолютной. Вокруг носятся солдаты в зеленой одежде, будто кузнечики, справа – толпа людей полукругом. Наташа видит их со спины, они машут руками и при таких взмахах не могут молчать, но кругом тихо. Она подходит к толпе, заглядывает в лица сбоку, рты открыты, но она не слышит их криков, и ей кажется, что она в телевизоре, в котором пропал звук.

Она раздвигает толпу и в щель между чужими плечами видит на земле человека – голого, без погон, но сразу узнает его. Видит его мясо и мышцы, вспоротые осколками. Она медленно ловит его объективом, наводя резкость и выстраивая композицию, несколько раз нажимает на кнопку, и тишина вдруг взрывается, вспоротая криком: «Мама! Мамочка милая! Больно! Больно...» В голосе больше нет котелка, одна только каша – мягкая, рассыпчатая, мамина. Наташа опускает фотоаппарат, вдруг замечая, что без погон он совсем молодой. Она наклоняет голову, и кадры медленно начинают плыть мимо нее, а потом быстрее, и уже крутятся перед глазами, как будто кто-то накручивает на нее самую бес-

конечную пленку.

К ней наклоняются лица, что-то кричат, и по движению их губ она читает: «Врача!» «Кузнечики» хватают ее под мышки, снимают с шеи «Никон», с плеча сумку, волокут к машине, а она упирается пятками в землю, оставляя в ней воронки для муравьев.

– Отдайте мой фотоаппарат! Где мой фотоаппарат?! – кричит она самым громким в Лужниках голосом, не слышит собственного крика, и ей кажется, в ней столько силы, что она могла бы сдвинуть контейнер.

– Отдайте этой дуре фотоаппарат! Где ее фотоаппарат?! – Крик солдата, больно давящего пальцами на ее подмышку, доносится откуда-то издалека.

– Чуть ниже, и была бы трупом, – говорит лицо в хирургической маске, наклоняясь к ней.

Врачи – в светло-зеленых костюмах, с серьезными глазами, в которых – осознание трагичности момента. На соседнем операционном столе – раскрытая грудная коробка. Наташа вспоминает его голос и кашу из котелка. Но не видела и не помнит, как человек, просивший больше каши ей не давать, наливается свистящим свинцом, взрывается кровью, становясь для Наташи щитом, сам того не желая, но не сумев поймать в себя лишь один осколок – толкнувший ее в висок. Снаряд прилетел слева – солдат-срочник нечаянно нажал на спуск пушки в БМП. Наташа узнает об этом позже, и навсегда запомнит номер машины – триста пятнадцать.

Она видела, как из круга второго бросаются в первый люди с фотокамерами, как крикают ими, снимая ее со стружкой у виска, текущей маленьким ручейком из большой реки. А она упирается пятками в землю, кричит: «У меня лопнула барабанная перепонка» и не слышит слов – «У нее в голове осколок». Она не судила их – своих товарищей по рабочему инструменту, потому что на их месте, на месте людей, разменявших свои жизни на кадры, поступила бы точно так же.

– Где мой фотоаппарат? – спросила она у врачей.

– Ее чуть не отправили на тот свет, а она – фотоаппарат! – Хирург спустил маску на подбородок, растянул уголки рта, рассмеялся – нехотя и небрежно, добродушно и так, чтобы пожурить.

– Терпи, не шевелись, – сказал он строго, наклоняясь к ее уху, – операция сложная. Мы не можем дать тебе общий наркоз – нужно следить за твоей реакцией. Шевельнешься – заденем мозг.

Он вернул маску на место. Четыре медсестры навалились на нее всем грузом своих мягких, но тяжелых грудей.

– Не вздумай кричать. Не шевели ни единым мускулом.

Она закусила указательный палец.

– Дайте ей марлю, – сказала медсестра, обхватывая ее голову руками, давя локтями на стол, и пальцы ее стали для Наташи неподвижными тисками.

Она впилась зубами в свернутую жгутом, пахнущую хлоркой марлю, почувствовала языком клеточки ее нитей, и за-

мычала. Она мычала громко, вспоминая теленка, умершего от разрыва сердца на белом снегу снежной зимой, а операционная рассыпалась в ее глазах на шестнадцать частей.

Лежа на боку, она подняла ногу и расписалась большим пальцем в воздухе, а потом начала чертить им квадраты, чтобы было шестнадцать, и в каждом – по отдельному кадру. В одном из них, в самом центральном, ей тринадцать лет, она стоит в советском спортивном трико – синем, с красной полоской по бокам – у балетного станка. Улыбается себе в зеркале – худая и длинная, как циркуль. Одной ногой твердо уперлась в пол, как циркуль иголкой в бумагу, другую поднимает и опускает, а тело остается неподвижным. Этому пришлось учиться. Балериной она не стала, но теперь занятия балетом ейгодились.

Она бы хотела отщелкнуть мгновение, чтобы, крикнув, оно пронеслось мимо. Но оно задержалось и стучало в висок острой болью, деля ее голову на шестнадцать частей. Время, с которого она все последние годы снимала отпечатки, а чаще – посмертные слепки, не подчинялось ей, не жалело ее, не ценило за то, что она увековечивала его в чужой памяти. И тогда, чертя ногой и мыча, Наташа поняла, что времени не нужны документальные оттиски своих мгновений, не нужна людская память о них, потому что время бесконечно и любое его мгновение может повториться.

– Он умер? – спросила она, выплюнув марлю.

– Еще нет, – ответил врач.

– Скажите, когда умрет, – попросила она и притихла, боясь, что протяжное мычание растянется в воздухе мутной пленкой и скроет от глаз смерть.

– Всё, – сказал врач, затягивая последний узелок на ее виске.

Грудную коробку накрыли простыней. Молоденький солдат всего лишь случайно нажал на спуск пушки – один убит, трое раненых.

– Мама, мамочка милая! – начала она заполнять тишину звуками. Тишина была ей невыносима – казалось, что только в ее абсолюте можно разглядеть смерть, а Наташа передумала с ней встречаться.

– Пospите...

– А он все дергается, доктор, – заговорила она, и доктор подумал: «Бредит». – Плечами водит, как петух. А я сижу, и плохо мне, мурашки по коже, по спине, по рукам. Не могу терпеть, вся изъерзалась, плохо мне, доктор. Я в Вене фотоаппарат покупала и стекла к нему – самые дорогие. Я три года в Лужниках мерзла, меня кинули, а я с нуля. Мечтала фотоаппарат купить. Отец ругался – будешь сидеть в подвале, пыль нюхать, негативы проявлять, чужие рожи на паспорт, и всегда говорить: «Не моргайте!»

Я с «мыльницей» к Красной площади. Я мини-юбку надела. А знаете, какие у меня ноги? Как у Деми Мур. Когда ее в «Стриптизе» показывают, мне подруги звонят: «Наташка, ну, вылитая ты». Там – на корабле – мужики крутые и

девки эти – модели. И шампанское еще. А я – «Девчонки, юбки задерите!», и «мыльницей» снимаю. Утром прихожу в «Коммерсант», негативы на просмотрный столик... Ни одного журналиста туда не пустили, а я – с «мыльницей», в мини-юбке. На следующий день газета выходит, и везде, на всех станицах – голые жопы и мужики эти. Отцу в рожу газетой тычу – не буду пылью дышать. Только все это – не талант, доктор.

И вот дергает он плечами, как петух, я встаю – сил больше нет, мурашки, уйду. Иду по проходу, «Никон» новенький из сумки вынимаю, поднимаюсь на сцену – в Вене, значит, в театре – и крык-крык-крык, кадр за кадром. Меня за руки, за плечи, вниз... А я вам скажу, доктор, что жизнь – не театр. Там, на сцене, она мертвая, потому что нет ее. Сиди, смотри и не вмешивайся в игру, потому что ты – никто, и даже не третья сторона. А мне скучно быть зрителем. И в театре можно нажать на кнопку, остановить мгновение, но только мгновения этого нет, придуманное оно, ненастоящее, и твое присутствие игры не меняет. А на войне, доктор, ты можешь, кое-что можешь. Там ты – не актер, но и не зритель. Ты – третья сторона, и можешь тиражировать мгновения, показывать их тем, кто на экваторе, и через сотню тысяч лет. И мгновение это – оно настоящее. И если сейчас оно никому на хуй не нужно, то потом это – история, и ты – история. Вы отдаляетесь, доктор. Уже совсем маленький. Отдайте фотоаппарат. Отдайте... А можно я пойду? Мне снимать нужно.

– Поспи, потом пойдешь...

И Наташа уснула, и увидела мать – широкую, с толстой кожей вокруг головы, в платке с нарисованными розами. Мать злится, провожая ее в аэропорт. «Опять понесла нелегкая», – ворчит. Не обнимает ее на прощание. А теперь сидит в Самаре на их старом диване, смотрит телевизор. В «Новостях» – Наташина фотокарточка, сделанная на паспорт: худая блондинка с волосами до плеч и несерьезным выражением глаз. Услышав «не моргай» от старого салонного фотографа в Самаре, который снимал ее еще для школьного альбома, Наташа широко раскрывала глаза, так, что болели, застывала и выходила как-то глупо, на Деми Мур не похоже – жаль, ноги на паспорт не снимают.

И вот сидит мать на диване, вытирает широкой ладонью щеки, а ее большая грудь – наверное, в старости у Наташи будет такая – тяжело поднимается и опускается, шумит, как резиновая шина, в которую качают воздух.

А потом Наташа сама сидит на диване в Москве, у себя в общежитии, и тоже смотрит телевизор. В нем картинка – женщины с грудными детьми гуськом выходят из буденовской больницы. Идут короткой цепочкой в рваных халатах. Волосы растрепались. Прижимают к груди свертки, а свертки молчат, хотя должны бы кричать; как будто за несколько дней, проведенных в захваченной полевым командиром больнице, научились молчать, еще не научившись говорить, впитали страх из молока своих матерей.

«Какой кадр! – думает Наташа. – А я тут сижу...» Снимает телефонную трубку и набирает номер «Огонька». «Я тебе запрещаю туда ехать! – Из трубки голос Геннадия Викторовича, начальника фотослужбы. – Ты меня слышишь?! Запрещаю!» «Беру отпуск! За свой счет!» – тоже орет она в трубку. Пауза. А потом из трубки тихое, с маслом в голосе – таким уговаривают душевно больных: «Будь там, где все журналисты. Никуда не лезь. Куда они, туда и ты... Ты меня поняла?» «Да», – соглашается она. «Ни хрена ты не поняла!» – взрывается трубка, и Наташа отдергивает ее от уха.

Она поняла, давно поняла, что в толпе с другими фотографу делать нечего. Мгновение не обернется хорошим кадром, когда на него направлено множество объективов, когда его уже спугнули крыканьем других фотоаппаратов. Отпечатавшись одним и тем же событием на разных пленках, мгновение разделит свою энергетику по количеству засасывающих ее объективов. Размажется по всем ним – каждому по чуть-чуть, кому-то больше, кому-то меньше, но всплеска энергии не будет ни на одном. Поэтому Наташа всегда ходила одна.

– Ты кто? – прорывается голос сквозь ее сладкий, тягучий, как ириска, сон, и уже на границе пробуждения она пытается понять, где спит – в танке или в больнице.

– Открой глаза! – тормозят ее чьи-то пальцы, скидывают одеяло – значит, она в больнице – трясут за плечо, хватают за подбородок, похлопывают по щеке одними подушечками, как будто на щеке у нее клавиши, и пальцы играют по ним

собачий вальс.

Наташа открывает глаза. Раз, два... Двое мужчин рядом с кроватью. Она их знает – телевизионщики: один – собственный корреспондент, другой – оператор. Познакомились месяц назад в Назрани, где вместе делали репортаж об освобождении российских военнопленных.

– Ты нас помнишь? – спрашивает собственный корреспондент, и подносит к ее губам микрофон. Наташа молча разглядывает круглую головку микрофона, дырочки в поролоне. А где мать, где платок с розами, где телевизор?

– Записывай, записывай, – говорит корреспондент оператору.

Наташа пытается вспомнить, как его зовут. У нее всегда была плохая память на имена. Хуже всего запоминались учительские в школе – с хвостом в виде отчества. Она всегда путала имена одноклассников, и не понимала, зачем держать в голове еще и имя отца учителя. Иногда мать стегала ее за это ремнем.

– Как меня зовут? – Микрофон ближе подъезжает к ее губам.

– Как меня зовут? Как?

«Вот, блядь, пиздец, – думает Наташа. – Некультурно же сказать, что не помню...»

– Как меня зовут?!

– Да не помню я... – говорит она неразборчиво, смешивая звуки в кашу, как будто во рту ириска, склеившая верхние

и нижние зубы.

– Она не помнит! – Телевизионщик, радостный, отнимает микрофон от ее рта.

– Вчера днем осколком снаряда была ранена фоторепортер... – Он четко артикулирует в головку микрофона, слегка рубя другой рукой воздух и, в общем, говорит голосом телевизионным – не тем, каким травил анекдоты в Назрани. – Возможно, результатом ранения стала частичная или полная потеря памяти, – продолжает он и снова поворачивается к забинтованной голове Наташи.

– Покажи, куда тебя ранило, – ласково просит он, хотя Наташа помнит, как грубо он послал ее месяц назад в ответ на просьбу освободить заднее кресло машины от аппаратуры – хотела доехать с ним из Назрани в Чечню.

У нее портится настроение.

– Записывай, записывай! – поворачивается он к оператору, а потом снова к Наташе: – Так куда тебя ранило?

– А не видно куда? – мрачно спрашивает она.

– Пальцем! Пальцем покажи!

– Хорошо, что меня не в жопу ранило, – четко произносит она, отлепив зубы от навязшего на них сна.

– Фу, дура! – собственный корреспондент отнимает от ее рта микрофон. – Ладно, сворачиваемся. События нет – она все помнит...

Увидев себя на фотографиях, сделанных коллегами в прошлый день, она себя не узнала. Неужели она такая? Короткие

волосы собраны в хвостик дешевой заколкой с рынка, на щеке два широких мазка – один кровью, другой – грязью. К ее голове протянуто несколько рук – хотят помочь. Маленький золотой крестик на ее шее. Осунувшееся лицо с обиженно оттопыренной и посиневшей нижней губой. Глаза серьезные, с вдруг набрякшими веками. Взгляд – опущенный, глубокий и какой-то торжественный. Таким смотрят раненые солдаты с коек военных госпиталей на ее фотографии. Взгляд, какого она никогда не замечала, глядя на себя в зеркало, потому что, подходя к нему, специально настраивала и глаза, и лицо – так поступают все, ведь никто не видит себя в зеркале таким, каким видят его другие. И зеркалу ни разу не удалось застать ее врасплох – ухватить истинное выражение глаз, которые тяжелеют, когда она на себя не смотрит. Выражение, которое может ухватить, сохранить и вернуть тебе на бумаге только фотоаппарат.

«Бедная мать», – подумала Наташа, разглядывая себя на фотографиях и затягиваясь сигаретой, а потом на ум пришло другое – нужно срочно найти штаны. Ее порвались, когда она водила ногой на операционном столе.

– Журналисты приходят, снимают, а у меня – жопа дра-ная... – затянулась она еще раз.

19 июня 1995 года Наташа в чужих штанах и с повязкой на голове вошла во второй круг оцепления, оставив на проходной больницы расписку: «Прекращаю лечение по собственному желанию». Журналисты составляли список доброволь-

ных заложников – полковой командир покидал Буденновск и звал с собой желающих обменять себя на заложников. Первые желающие вписали свои имена еще вчера, поэтому сегодня – 19 июня – фамилия Наташи была внесена в список четырехсот какой-то.

– Я тоже хочу, – Наташа подошла к утверждавшему список генерал-лейтенанту и обиженно выпустила нижнюю губу. – Меня ранило, я была в больнице и теперь – в пятой сотне. Я бы раньше записалась... Можно обменять меня без очереди?

В первую очередь в больницу войдут «Тайм», «Сиэн-эн», «Би-би-си» – генерал растягивал иностранные названия, произнося «н» через нос. Потом пойдут ОРТ, РТР, НТВ, «Российская газета», ну и остальные – если останется место.

Наташа присела на землю возле БМП. Сидела и ждала, не думая о том, почему хотела попасть в больницу – не время было философствовать. В толпе возле нее стояли родственники тех, для кого стены больницы стали границей, через которую невозможно было переступить, потому что у них было отнято право самостоятельно выбирать направления. Право столь естественное, что начинаешь его замечать лишь после того, как упрешься пальцами ног в осязаемую границу, которой раньше на этом месте не было.

Она бы пошла менять себя на жизнь матери, если бы та оказалась в этой больнице, чтобы мать вышла из нее гуськом, прижимая, словно новорожденного, к своей широкой

груди жизнь. Наташа бы добровольно вынула из себя свою жизнь, протянула бы ее на раскрытой ладони матери, сказала бы: «На, мать, живи». И Ленке – младшей сестре – протянула бы. А сама пошла бы к четырехэтажной границе, перешагнула бы через нее по собственному желанию, утратила бы право на направления, втыкалась бы носками кроссовок в пределы, которых раньше не было, и ни о чем бы не жалела. Но она не могла пожалеть женщин, запертых в больнице так, как пожалела бы мать и Ленку. Не смогла бы она вынуть из себя жизнь и протянуть им – «нате живите», даже если бы эту жизнь можно было нарезать кусочками и накормить ею не одну и не двух, а множество, пусть даже всех. Она не была героем, хотела жить и не хотела жить в общаге. Сидя на земле, она пыталась возбудить в себе жалость, которую можно нарезать большими кусками и протянуть: «Нате, сколько хотите». Но философствовать было не время. Огромной жалости она возбудить в себе не смогла, а вопрос «на хуя?» по-прежнему оставался актуальным, потому что общага тут, конечно же, была ни при чем.

Сидя на земле, Наташа прислушивалась к разговору водителя БМП с родственниками заложников, собравшихся толпой здесь же – неподалеку от больницы. Она видела только его пыльные солдатские ботинки. Он пружинил ногами, будто стоял на батуте. Когда он сказал, что знает, как освободить заложников, она задрала голову, чтобы увидеть его лицо.

– Надо просто взять и взорвать больницу. И тогда мы уни-

чтожим всех боевиков. — Он накрыл кулак ладонью и повторил этот жест снова, как будто взял за горло полевого командира и прихлопнул его сверху.

Его лица Наташа не запомнила, но кулак и ладонь крышечкой появлялись на пленке ее сна регулярно — каждый раз, как мозг вынимал из архивов памяти ту, что подписана «Буденновск».

— Да я тебе за это... Гнида! — Два кулака потянулись к груди водителя, и в Наташином сне эти слова, сказанные сквозь зубы кем-то из толпы, полезли прямо из кулаков, с трудом протискиваясь через щели между сжатыми пальцами. Кулаки схватили еще горсть слов, сжали их, и те поползли из них «фаршем», на котором Наташа смогла разглядеть белые прожилки.

— У меня там мать и жена, — сказали кулаки, выжимая «мясо» из слов. — Вот своих привези и тогда бомби. Гнида...

Кулак опустился на лицо водителя. Ноги в ботинках спружинили сильнее, но устояли, а потом подались вперед. Наташа не стала тратить на них пленку, даже не притронулась к «Никону», пусть дерутся, это событие — ничтожное ничто по сравнению с тем, которого она ждала.

— Все, кто едет, выходите сюда вместе с камерами! — вызвал желающих генерал-лейтенант.

Журналисты сделали четырехсотенный шаг вперед, и один из них был Наташин.

— Стойте! Стойте-стойте-стойте, — пунктиром слов он

провел у их ног границу. – Сначала каждый из вас должен написать заявление. Вот его образец.

Слова, написанные синей шариковой ручкой на листе А4, должны были стать пропуском в больницу. В самом верху буквы собрались в свистящее «согласен». Этому слову была отведена первая строка, потому что оно было на листе главным.

– Согласен добровольно сопровождать группу Шамиля Басаева без предварительных условий и осознаю ответственность за принятое решение, – читал генерал-лейтенант, высвистывая «с» в тех словах, где она была.

– Нельзя ли использовать более мягкую форму? – спросили журналисты.

Они – люди, сделавшие картинки и слова своим рабочим инструментом, – знали, что делать с текстом. Нужно убрать из него свист, добавить разрыхлителя, чтобы не был жестким, и тогда они поймут, что этот текст можно проглотить и переварить. И тогда сотни рук смогут подписаться под этим новым заявлением.

– Как только автобусы с террористами и их добровольными заложниками выедут за пределы города, будет предпринята попытка захвата-освобождения, – сказал генерал-лейтенант. – Ес-с-ли в перес-с-трелке вас-с ждет с-с-мерть, мы не с-с-обираемс-с-я нес-с-ти за вас-с ответс-с-твеннос-с-ть».

– Так что? Никто не едет? – спрашивает он.

Вперед выходят несколько журналистов. Наташа среди

них.

– Мало, – говорит генерал-лейтенант. – Нужно шестнадцать человек...

– Ребята, чем нас больше, тем больше шансов, что нас не убьют! – кричит Наташа во всю глотку, и услышь ее азербайджанец из Лужников, сказал бы, что она побила свой собственный рекорд.

Из толпы выходят еще несколько человек.

Сергей Тополь – корреспондент газеты «Коммерсантъ» – скребет то у виска, то за ухом, то подбородок. Он хочет переступить черту, но что-то сильной невидимой рукой возвращает его назад. Тополь колеблется маятником у черты.

– А гори оно все, – делает он твердый шаг. – Начальство не переживет, если «Огонек» и «Известия» поедут, а «Коммерсантъ» – нет. Уволят на хер. Давайте сюда свою бумагу – подпишу.

Тринадцать человек расписываются на одном листе под словом «согласен». Иностранцев среди них нет – без предварительных условий формулировка согласия для них слишком жестка.

– Вы еще можете подумать и, пока не поздно, вернуться, – говорит генерал-лейтенант. – Вы – добровольцы... У вас не будет статуса заложников... И никаких гарантий безопасности...

Тринадцать человек отделяются от толпы и идут в сторону больницы. Наташа вешает на шею фотоаппарат, предчув-

ствуует кадры и не спрашивает себя о том, что ее ждет.

Вчерашний день и каша из котелка казались ей далекими. Если бы не повязка на голове и не глухота на одно ухо, сегодня она думала бы, что это случилось во сне. Она была не так глупа и понимала – не окажись вчера рядом с ней живого щита, нечаянно выпущенный снаряд нарезал бы кусками не ее жалость, а ее тело, которое коллеги разобрали бы на кадры с разных ракурсов и расстояния. О ней бы поговорили вчера, а сегодня – забыли. О ней бы написали вчера, а сегодня газеты вышли бы из печати с кусками ее тела, размазанными свежей краской по страницам, и кто-то завернул бы в них остатки селедки или использованные женские прокладки прежде, чем опустить их в мусорное ведро. В редакции «Огонька» повесили бы на стену у входа ее увеличенное фото, обведенное черной полоской. Коллеги сказали бы о ней много красивых слов. Положили бы рядом четное число гвоздик. Выпили бы, не чокаясь. Выдавили бы из глаз каплю, а может, две. И ушли бы домой есть селедку. А она ушла бы во вчерашний день, потому что из сегодня ее вытеснило другое событие – более важное, более свежее. Только мать шумела бы по ней широкой грудью и сегодня, и завтра.

Сто раз она слышала фразу о том, что ни один кадр не стоит жизни. Эта фраза сидела в кармане каждого фотографа, даже новичка, и только ждала подходящего момента, чтобы ее вынули и помахали ею, как флагом. Она затерлась оттого, что вынимали ее слишком часто, ее слова потеряли форму

и смысл, никто уже не вслушивался в нее. Она была, и ее не было. Но сегодня девятнадцатого июня тысяча девятьсот девяносто пятого года эта фраза выпрыгнула из Наташиного кармана, где давно лежала вместе с пленками и зажигалками, налилась смыслом и, выпуклая, встала у нее на пути в больницу. И Наташа как будто впервые услышала ее: «Ни один кадр не сможет остановить войну, хотя кадры война ценит больше, чем жизни. Но нет такого кадра, который стоил бы жизни». Наташа отпихнула ее ногой и пошла дальше, надеясь, что снаряд в одну воронку не попадет дважды.

Она выбежала вперед, повернулась лицом к идущим и сделала кадр. Лето, горячий асфальт. Листва деревьев, уже напившаяся зелени до предела и оттого загустевшая в темный оттенок. Сухая трава, невысокие домики по обочине, и они. Идут по асфальту. Ноги – в движении. Одни наступают с носка, другие – с пятки, кто-то давит на асфальт всей ступней. Детали, незаметные глазу, но отчетливые на снимке, пойманные объективом с поличным. Добровольные заложники идут, и будут всегда идти – в малиновой футболке, в джинсовой рубашке, расстегнутой до пояса, в костюме и при галстукe. На снимке они навсегда останутся не очень молодыми людьми среднего возраста, сколько бы времени ни прошло, и не героями, потому что у каждого из них были свои причины и свои не всегда героические хуи.

Вместе с другими она вошла в больницу и пробыла в ней несколько часов, пока не пригнали автобусы, в которых, при-

крываясь заложниками, собирался вернуться на родину полевой командир. Наташа побывала на всех четырех этажах, и если бы не документальное свидетельство – отснятые ею кадры, то попыталась бы вычеркнуть из памяти всё, в тот день увиденное.

Коридор на втором этаже. По обеим стенам – заляпанные матрасы с больничных коек, пятна уже высохли. Люди сидят – по два-три на каждом, поджав или вытянув ноги – босые, в носках или бинтах. Стоит запах – плотный, кажется, его можно потрогать, но нужно быть очень талантливым фотографом, чтобы заставить снимок пахнуть.

Когда-то Наташа слышала – в будущем появятся фотоаппараты, способные не только фиксировать изображение, но и передавать его запах. К примеру, разглядывая кадр, на котором роза, можно будет почувствовать ее аромат. Только Наташа в это не верила – считала, что настоящий мастер заставляет зрителя чувствовать запах при помощи визуальных деталей. Впрочем, и розы всегда ассоциировались у нее с запахом говна.

В больнице пахло страхом, но словами она не могла описать его запах. Что в нем было? Кровь, заперевшая моча, металлический холод автомата или пот, выходящий из пор вместе с гормонами страха? У нее сводило живот, и тянуло в туалет.

В туалете по кафельному полу разливалась лужа красной мочи, корабliками в ней кружили ватные тампоны и окурки.

Лужа «ударила» Наташе в нос, и она вдруг поняла, что туалет и есть тот источник страха, который молекулами разложения расползается по всем этажам, проникает в легкие и щиплет кишки в животе. Обходя лужу, она замочила кроссовки, и теперь от нее пахло так же, как и от всех остальных заложников, дышавших этим в течение нескольких дней. Живот снова свело.

Кто-то из журналистов присел на матрас, положил на коленку блокнот, нацелился в него карандашом. Напротив – женщины-заложницы, сверкали их голые коленки. Говорила одна – молодая блондинка, похожая на ее младшую сестру Ленку. А Ленка – вылитая фотомодел ь, работает стюардессой на международных авиалиниях. И не будь Ленка такой высокой и красивой, ее бы туда не взяли. Но Ленка ее летает, а эта – сидит тут и рассказывает про женщину, которая позавчера стала рожать, когда начался штурм. Женщина спряталась в шкафу с медицинским оборудованием, но снаряды из окна все равно доби ли ее и не успевшего родиться ребенка. Наташа представила, как испугался бы ребенок, родись он шкафу, из темного тесного живота попадая в тесноту наглухо запертого шкафа, в котором его мать пыталась принять позу эмбриона, чтобы занимать меньше места и сократить вероятность попадания осколков в их общее тело. Ребенок родился бы и увидел, что жизни после родов нет. Нет света, нет пространства, нет направлений. Есть только ненадежная дверь шкафа, в которую его мать упирается голыми коленками и не

слышит его первого крика, потому что кричит сама. И крик этот – ее последний, но ребенок его не услышал. Его не защитил ни материнский живот, ни живот шкафа. Они, вообще, плохая защита от снарядов, пробивающих стены. Когда их нашли в шкафу, они лежали как два эмбриона.

Женщина в ситцевом халате приложила грязный платок к губам, хотя наверняка уже слышала эту историю. Другая посмотрела прямо в объектив. Она смотрела на Наташу глазами жертвы, которой уже нечего хотеть, нечего бояться, не во что верить и некого просить. Если снова начнется обстрел, она не спеша ляжет на пол вместе с другими, не станет искать шкафа, в котором можно укрыться от смерти, и тихонько умрет, жалобами никого не беспокоя и выполняя свою жертвенную роль, с которой уже смирилась, потому что лимит страха за эти дни был весь израсходован. В день захвата – шестнадцатого июня – боевики сгоняли в больницу всех жителей ближайших домов, прохожих, продавцов и покупателей с соседнего рынка. Эта женщина, смотрящая теперь в объектив, была торговкой. Ее жизнь не имеет значения даже для войны, и хорошего кадра не стоит. Ее забудут не сегодня – ее забыли уже вчера, потому что таких, как она – людей-невидимок – много, потому что жизнь их столь тиха и незаметна, что кажется, будто их нет. Но Наташа все равно зафиксирует ее жертвенность на пленке и продаст за хорошие деньги. Хорошие кадры – хорошие деньги. Вот так. И не надо морали.

Наташа поднялась на третий этаж и поскользнулась на чем-то мозге. Она несколько раз шаркнула ногой по полу, чтобы очистить подошву. Отошла в сторону, прицелилась взглядом и увидела композицию – мозги, а рядом ботинок. Мозги – жидкой кучкой, ботинок – черный на шнуровке. Это – не мозг, вытекший из чьей-то пробитой головы, и не ботинок, слетевший с чьей-то оторванной ноги. Это – составные части композиции, без прошлого и принадлежности, без смысла и причин. Наташа взялась за корпус «Никона», поднесла его к лицу, посмотрела в окошко видеоискателя, но нажать на кнопку не смогла. Плевать ей на мораль, просто не смогла.

Она пошла дальше по коридору. Кроссовки чавкали по липкой крови.

– Снимите потолок. – К ней подошла женщина в когда-то белом халате.

Наташа подняла голову – потолок был заляпан мясом. Такое она уже видела в общежитии, когда соседка готовила для мужа отбивные. Наташа перевела взгляд на женщину – та давно не спала, зашивала, перевязывала и израсходовала все эмоции. Их заменила усталость.

– Они стреляли из БТРов, – сказала она, и ее голос разошелся трещинами. – Они стреляли в окна. Снаряды пробивали стены, попадали в коридор. А в коридоре были люди, понимаете? – Она подняла сухой палец, и Наташе показалось, что кожа на нем сейчас тоже пойдет трещинами. – Лю-

дей разрывало на куски... Снимите это! Вы слышите? Снимите!

Разувшись, чтобы не прилипнуть обуви к полу, заложницы отмыли его на первых двух этажах, еще не придя в себя после штурма. До третьего не добрались – не хватило воды и сил. Когда плен будет закончен, а заложники понимали, что когда-нибудь он будет закончен, неважно с каким исходом для них, все свидетельства их заточения и попыток освобождения будут смыты со стен, пола и потолка. Уже завтра они будут стерты из памяти других, их будут помнить только сами заложники – в мельчайших деталях, в цвете и до конца жизни. И чтобы смерть была ненеправильной, они хотели сохранить все детали на пленке. Они хотели снять слепок со смерти и со своих страданий. Хотели иметь доказательства, чтобы когда-нибудь другие поверили – безо всякого преувеличения с ними произошло то, во что поверить невозможно. И поэтому на каждом этаже, в каждой палате они просили Наташу: «Снимите это!»

– Вы слышите?! Снимите!

– Да не могу я это снять, – устало говорила она.

Это трудно снять. Это невозможно снять. С какого ракурса ни возьми, это – плохие кадры. Это – лужи крови на полу. Это – куски мяса на стенах. Можно быть превосходным фотографом, можно быть мастером своего дела, но нет тут композиции. Нет наводящих на смысл и говорящих деталей. Такую лужу можно разлить на скотоводческой бойне, и ни

один штрих на стенах не намекает на то, что тут были люди, что ребенок не родился, что мозг вытек, а кто-то потерял ботинок вместе с ногой. Такой фотографии не обойтись без подписи под ней – долгих слов, подробно в десяток строк рассказывающих про Буденновск, про штурм, про жизнь и про смерть. А она не была мастером слова. Она не признавала фотографий, требующих словесных объяснений. Нет в этом таланта, нет истории, и снимать это она не будет. Мораль тут ни при чем.

– А хотите в подвал? Там руки-ноги покалеченные... Хотите? – спросила женщина тоном гида, соблазняющего посетителя посмотреть дополнительные экспонаты музея.

– Не хочу, – ответила Наташа. – Но, не волнуйтесь, я сделаю хорошие кадры. Я все это сохраняю... И все увидят... Вот увидите.

Женщина ничего не сказала, только сжала ее запястье. Тонкие, неровно выщипанные брови приподнялись, когда она посмотрела на наручные часы – кто-то ее уже ждал, но не сон.

Наташа поднялась на четвертый этаж. Родильное отделение. Из разбитого окна на нее пустыми окнами смотрит недостроенный дом. На полу – стекла и выбитые из стен кирпичи. Гинекологическое кресло выгнулось дугой, как женщина в родовой схватке, вывернуло подставки для ног, будто раздвинуло колени, расширяя проход для жизни, которая умрет, еще не родившись. Наташа выбрала ракурс и сделала

кадр. Слов не надо, детали сами расскажут о том, что жизни после родов нет.

Она вернулась на нижние этажи. Ходила по коридорам, заполненным людьми, подмечала детали. Снимала боевиков с лицами, спрятанными под белым полотном с прорезями для глаз. Один обмотал марлевым бинтом нос и скулы. Наверное, решил, что густая черная борода – хорошая маскировка, и достаточно спрятать один только нос для того, чтобы быть не узнанным потом. Они позировали для нее, брали автоматы наперевес, смотрели в объектив так, как смотрятся в зеркало. Хотели, чтобы она прочла в их взглядах смелость и решимость, а она, глядя на них в объектив, будто в оптический прибор, способный разглядеть суть, как бы глубоко та ни была упрятана, видела страх на дне их глазных яблок. Он сидел притихший, маленьким зверьком в клетке из прутьев сетчатки. Она обоняла страх – от боевиков пахло так же, как от заложников, и так будет пахнуть всегда. По этому запаху она бы узнала их – без масок и через сотни тысяч лет. Прятаться бесполезно.

Боевики смешались с заложниками – сидели вперемешку на матрасах или стояли вдоль стен. Все вместе и вперемешку они боялись федеральных сил, штурмовавших больницу уже дважды. Боялись «кузнечиков», по приказу более крупных насекомых бивших по ним из БТРов в течение нескольких долгих часов. Мошками, запертыми в банке, заложники жались в коридорах, надеясь, что стены палат спасут их от

снарядов. Выглядывали из окон, размахивая крыльями – белыми больничными простынями. Кричали. Но кузнечики не слышали их жужжания – у них был приказ. В этой энтомологической зарисовке, которая разыгрывалась в воображении Наташи, слушающей рассказы заложников, боевики играли роль пауков – опутывали мошек белыми простынями, выставляли щитами у окон. Мошки бились в стекла, махали простынями, жужжали, кузнечики выпускали по ним снаряды, ведь более крупные насекомые жужжали громче. И тогда они подружились – мошки и пауки. Подружились против кузнечиков. А еще пауки научили мошек прятаться.

– Это не мы вас убиваем, – сказали заложникам боевики. – Вас убивают – ваши.

И мошки поверили, забыв, что это пауки заперли их в банке и натянули по стенам и полу сеть проводов. Тронь их, и нет ни мошек, ни пауков, ни самой банки. Конечно, мошки хотели вырваться из банки, летать на свободе, тонко жужжать, качаться на длинных стеблях травы, но у крупных насекомых была своя большая игра, а мошки – вовсе не тот залог, за который они готовы платить. После двух штурмов мошки поняли, что «кузнечики» не их освобождают, а воюют с пауками. И тогда они подписали части своих маленьких мушиных тел обычной шариковой ручкой. Имя, год рождения, группа крови – на руках, ногах, груди, ягодицах: «Олефир Наташа, 1976 г.р., I гр. крови», «Казакова Марина, 1958 г.р., II гр. крови».

После второго штурма женщины собрали в помойные ведра мясо со стен и пола. Уборка – не мужская работа. Сначала они пытались сортировать части тела по принадлежности, но на оторванной руке или ноге не написано ведь, кому она принадлежит. И они подписали – свои собственные, чтобы облегчить работу следующей бригаде уборщиц, которые станут тут убирать после очередного штурма.

Закрытое пространство давило на них звуками, запахами, прикосновениями. Обостряло все чувства, вытягивало наружу инстинкты, забытые со времен пещерных предков, остро затачивало нервные окончания, зудело внутри, раздувало мелочи, смешивало в воздухе мочу и кровь, страх и бессонницу, и от этого коктейля заложники опьянели уже на третий день. Смыслом их жизни, остатка которой могло не хватить и на несколько дней, стало дать родственникам возможность верно собрать пазл из разбросанных фрагментов их тел, когда те войдут в больницу после того, как все будет закончено. Они не надеялись уцелеть в третьем штурме и внутренне готовились к нему. Чем дольше они находились здесь, тем меньше у них оставалось надежды – она улетучивалась, как молекулы кислорода из закупоренной банки.

Наташа шла по коридору, и за ней тонкими нитями тянулись вопросы, прилипали к спине, закручивались вокруг нее в кокон.

– Почему убивали новорожденных? – спрашивали ее заложники.

– Почему в нас стреляли из БТРов?

– Когда нас освободят?

– Когда все это кончится?!

– Не знаю, – отрезала она. – Не-знаю-не-знаю-незнаю.

Она не знала, когда, но знала, почему, только ответ не был патриотичным. Впрочем, цензурным он тоже не был.

Коридор был длинным, но известных ей матерных слов вполне хватило до его конца и на обратную дорогу. Потому что, блядь, тупорылое освобождение. Свои беззвучные слова она разбавляла криканьем фотоаппарата. Потому что всем насрать. Потому что сраные уроды... Она сама точно не знала, каких уродов имела в виду, это скорее был собирательный образ. Образ, состоящий из разных фрагментов. Но центральное место в этом пазле она отдавала московскому метрополитену.

Она прижалась спиной к холодной стене тоннеля, заглянула из темноты в освещенные окна вагонов, всмотрелась в пассажиров – знакомые позы, знакомые лица. Давно, еще только приехав в Москву, она заметила, что, спускаясь в метро, люди становятся похожи – одни и те же движения, оттопыренные локти и глаза, избегающие контакта с другими. Будто люди оставляют на поверхности свои индивидуальные качества и, подышав тяжелым воздухом метро, заколдовываются в пассажиров, отличающихся друг от друга только одним – Наташа делила их на сидящих и стоящих.

Вагон пронёсся за вагоном, Наташа стояла в тоннеле,

ругалась матом и видела, что четыре долгих дня плена, перевернувших мир заложников Буденновска, ничего не изменили в московском метро. Младенец не родился в шкафу, но составы продолжали ходить. Из пробитой головы вытек мозг и растекся возле чужого ботинка, но составы продолжали ходить с обычными интервалами. Мошки махали белыми флагами-крыльями, высывались из окон, кричали: «Пожалуйста, не убивайте нас!» и разлетались на куски, а люди спускались в метро, превращались в пассажиров, ехали по своим делам, и срать им хотелось большой кучей на то, что происходило в буденновском коридоре.

Мир перевернулся, а он, блядь, сидит, читает газету или спит – закрывает глаза, чтобы не замечать входящую в вагон беременную. Он прав – жизни после родов все равно нет. Он не замечает женщин с детьми, пассажиров преклонного возраста и инвалидов, о которых написано на стеклах вагонных окон. А они, стоящие, ждут. Оттопырив локоть, с виду равнодушные, ждут, когда встанет сидящий, чтобы занять его место.

Наташа могла бы бомжом пройтись по вагонам – в грязных штанах и кроссовках, провонявших мочой. Могла бы разбросать по проходу свои снимки – группа крови на ягодице, гинекологическое кресло родит автомат. «Это – не реклама!» – могла бы кричать, перекрывая грохот состава. Но мир перевернулся, давно стоит вверх ногами, а люди, раскачиваясь в такт уносящего их от чужих коридоров состава,

прикрывают глаза и не видят, что они – вверх тормашками.

Наташа не была героем, не хотела отдавать свою жизнь за других. Могла поскользнуться на чужом мозге и не упасть в обморок. Могла превратить обычный вопрос в риторический, потому что была глупа, а мать не сумела выбить из нее глупость ремнем. Она надеялась, что снаряд не попадет в ту же воронку, и ей удастся за хорошие деньги продать свои кадры. Но если бы кто-то сверху позволил ей отмотать пленку жизни назад, она бы снова вошла в коридор – предпочла бы его тоннелю, превращающему людей в пассажиров, несущихся по жизни, закрыв глаза. Затормози, встань состав в неположенном месте, и уже они – пассажиры – заложники тоннеля. А всем вокруг – насрать. Наташа не была героем, хотела смотреть на жизнь широко открытыми глазами, не избегать с ней контакта, летать в полный рост и в свободной позе. Она предпочитала быть мошкой.

Банка соленых огурцов вернула ее в реальность – в буденновский коридор. Взгляд выхватил ее из кучи мусора. Трехлитровая банка стояла на полу, в ее мутном рассоле плескались средних размеров огурцы, она уже была наполовину пуста, но оставляла огромный простор для воображения. Кто-то принес банку гостинцем для заболевшего родственника или знакомого. Кто-то солил огурцы, не зная, что еще в этом сезоне они будут стоять на полу посреди засохших бинтов, скомканных одеял, скорлупы штукатурки, проводов от взрывчатки и хаоса. Разве мог этот кто-то представить,

что закатанная им банка станет на Наташином снимке центральной точкой мира, вставшего вверх тормашками?

Боевики и заложники по очереди просовывали руку в узкое горлышко, вынимали хрустящие огурцы, надкусывали их головки. В блокбастере с захватом заложников никогда не покажут огурцы. Главные детали на экране – горячие слезы, плавящие железные мышцы героя-освободителя. А у реальности свой сценарий и свои детали – мусор, запах мочи, потные мужские ноги, освободители-не-герои, и все это венчает трехлитровая банка соленых огурцов. Вот это – кадр.

Полевой командир в разгрузочном жилете сидел на столе в ординаторской второго этажа, прижимал к уху телефонную трубку, которая тянулась закрученным проводом к белому аппарату с крутящимся диском. Еще один – желтого цвета – стоял рядом. Камуфляжная одежда командира желто-зелеными разводами сочеталась со старыми золотистыми обоями на стенах и салатовой занавеской на окне за спиной. На столе – чашки с недопитым чаем, маленькая сумка с патронами, хлеб, завернутый в белое полотно, выглядывающий из него краюшкой.

Со времени их последней встречи в лице полевого командира произошли изменения, и она по профессиональной привычке сразу подметила их. Он стремительно лысел – полоска края волос поднялась еще выше надо лбом. Похудел. По-прежнему носил зеленую повязку на голове, без слов по-

казывая, что готов умереть за Аллаха. Наташа называла такие «бантами». Он слушал трубку без слов и без мимики, опустив голову, усы сливались с бородой, темная борода отражалась в зрачках, и, возможно, от этого взгляд темнел. Он не верил и не доверял тем, кого сейчас слушал. Ей это было заметно, хотя за время своего молчания в трубку он не пошевелил ни одним мускулом на лице. Его взгляд не бегал, но предводитель боевиков четко контролировал все вокруг, будто видел затылком. И это Наташа тоже почувствовала. Она тихо вошла в ординаторскую и скромно присела в углу.

– Подождите, – сказал полевой командир в трубку и повернулся к ней, – Наташа, иди сюда.

Она подошла. Командир улыбнулся – усы и борода поползли к ушам.

– Что у тебя с головой? – спросил он. – Это мои тебя так?

– Нет, – ответила она и опустила глаза, чтобы он не разглядел в них длинной цепочки матерных слов. А потом испугалась.

– Фотографии привезла? – спросил он, держа телефонную трубку на весу.

– Чего?

– Фотографии мои привезла? Ты, когда меня прошлый раз снимала, обещала привезти.

– Нет, извините, не до вас было, – сказала она, вспоминая, в какой спешке покидала Москву, чтобы здесь, в Буденновске, успеть отснять теракт, организованный человеком, не до

которого ей было тогда. – Извините, в следующий раз привезу...

– Ты только обещаешь. Когда в следующий раз на Москву пойду, я тебе заранее позвоню, чтобы фотографии привезла. Ладно, подожди, сейчас с Черномырдиным договорю, – сказал он и снова прижал трубку к уху, – Виктор Степанович?

Он был слишком занят, чтобы заметить – фотожурналист Наталья Медведева начала обращаться к нему на «вы».

Первый раз они встретились в январе девяносто пятого, когда вместе с комитетом солдатских матерей она приехала в Шали освобождать российских военнопленных. Был вечер – неподходящее время для съемок. Солдатские матери, стоя на улице возле комендатуры, вели переговоры с главнокомандующим, который вскоре займет место президента республики. Наташа хотела снять его и матерей, их жесты и говорящие рты, но между ними и ею постоянно вставал худой человек с зеленым бантом на лбу. Она отходила влево, вправо, кружила вокруг переговорщиков, но он заслонял их собой, упрямо лез в кадр, оказываясь на переднем плане ее снимков.

– Мужчина! – не выдержала Наташа и заговорила с ним строго, как в общественном транспорте говорила с людьми, вставшими слишком близко от нее. – Отойдите! Вы же мешаете!

– А ты меня тоже сфотографируй, – попросил он.

– Кто это? – спросила Наташа у одной из стоящих рядом

матерей.

– Какой-то полевой командир, – ответила та.

– Тут этих командиров вагон и тележка, – ругалась про себя Наташа, отщелкивая его, даже не прицеливаясь – все равно пленка потрачена зря. Вряд ли хотя бы одно московское издание захочет купить у нее никому не известного чеченского боевика. Тогда она пожалела на него пленку, а позже у нее купили всю эту съемку – только потому, что на переднем плане был он.

Второй раз они встретились в Шали, в бомбоубежище, в феврале. В тот приезд ей повезло – она познакомилась с сотрудниками местного телевидения и ездила по селам вместе с ними. Денег за проезд с нее не брали – действовали местные традиции гостеприимства. Традиции сразу пришлись ей по душе, ведь она смогла сэкономить на транспорте и на еде – кормили во всех домах, куда они заходили. С детства мать приучила ее быть экономной. Да и лишних денег у нее почти никогда не было.

В один из дней, похожий на все предыдущие, они въехали на служебных «жигулях» в ворота дома, который не отличался ото всех остальных. Выйдя, она достала из сумки фотоаппарат и блокнот, готовясь снимать обитателей дома и записывать их истории, и в этот момент увидела Алешу. Он входил в ворота, неся ведра воды. Поставил их на землю, утер нос дутым рукавом синей куртки, затворил за собой калитку и пошел мимо машины, опустив голову, ни разу не

взглянув на Наташу. Она вздрогнула, когда, дойдя до дверей дома, он тихо позвал: «Ма-ма». На порог вышла женщина в наброшенной на плечи шали. Приняла ведра воды. Мельком посмотрела на Наташу, и той хватило этого взгляда украдкой, чтобы все понять.

Она сидела в небольшой комнате на полу вместе с сотрудниками местного телевидения перед расстеленной там же клеенкой. Жевала хлеб с сыром, но проглотить мешал комок, застрявший в горле. Старалась смочить его горячим чаем с сахаром и протолкнуть вниз. Она положила хлеб на клеенку. Встала.

– Сейчас вернусь, – сказала она.

Спустилась в подвал. Ни слова не говоря, присела на край лежака, накрытый матрасом в красном ситцевом чехле. Уперлась локтями в колени. За ее спиной на лежаке спал Алеша, отвернувшись лицом к стене. Сгорбившись, они обе долго молчали и хмурились. Женщина вздыхала.

– Почему вы не убежите? – наконец, проглотив комок, спросила Наташа.

– Куда? – спросила в ответ женщина, и они снова замолчали.

Наташе не нужна была история этой женщины, она такую уже слышала. Нет, не от нее – от других. И теперь читала несказанные слова в провисших носогубных складках этой русской женщины, в платке, из-под которого выбивалась короткая стрижка, в глазах, не мигающих от страха, но не за

себя саму – за Алешу.

В девяносто четвертом сотни русских матерей ходили через войну, разыскивая своих сыновей. Они приезжали сюда наугад, просто потому что сыновья, ушедшие в армию, вдруг переставали слать им письма. Они уезжали на поезде из своих маленьких провинциальных городов, где жизнь – стоячее болото, в котором все, как заведено, все по плану – с утра и до вечера, где раз в пару месяцев – парикмахер, делающий химическую завивку или остригающий волосы по одному шаблону для всех. Они передвигались по чужой земле, шли от города к городу, от села к селу – через местную неприязнь, ведь это они родили сыновей, пришедших сюда воевать. Они прижимали к груди фотографии пропавших без вести детей, и думали, что они защитят их материнское сердце от пуль. Впрочем, некоторые из них ошибались – сердце в любом случае мягче железа.

Срочников брали в плен – в домах не хватало своих мужских рук, которые теперь держали автоматы против федеральных сил. Алеши рыли землянки, ходили за водой, свободно передвигались по селу, только убежать не могли: «Откуда ты такой курносый-голубоглазый? Не иначе убежал от соседа». Алеши не были опытными бойцами, не знали, в какую сторону бежать – еще год назад они сидели за партами в школе. И таких Алеш в девяносто пятом в республике было много – курносых, голубоглазых, восемнадцатилетних и неопытных. Иногда их – безропотно выполнявших домаш-

нюю работу и не делавших попыток убежать – приносили в жертву, не развернув головой на восток. Просто потому что, пока Алеша ходил за водой, где-то в бою был убит сын чеченской матери – око за око, жизнь за жизнь. Все ведь были нервными. Война ведь. Алеши были готовы к тому, что в любую минуту за ними могут спуститься в подвал.

А в это время солдатские матери стучались в двери, останавливали прохожих, вынимали спрятанную на груди фотографию: «Вы не видели моего сына?» И шли дальше – вслепую, на ощупь или в указанном направлении. А найдя, уже не отлипали. Не возвращались в свои провинциальные городки, где больше шансов добиться обмена сына русской матери на сына чеченской. Надвинув платки по самые брови, они заходили в подвалы, гладили сыновей по голове, караулили их сон, когда те спали на ситцевых матрасах, отвернувшись лицом к стене, и принимали из их замерзших рук ведра воды. В общем, делили с ними все тяготы плена.

– Мамашки, блядь, – выругалась Наташа, сидя на лежаке, и закурила. Сомнений не оставалось – если у нее когда-нибудь будет сын, она назовет его Алеша.

У женщины во рту сидела именно такая история, но ей нужно было разжать губы и выпустить ее наружу – выговориться, потому что накопилось, накипело. Она говорила шепотом, чтобы не разбудить сына. Он сегодня устал – много работал.

И было в ее истории чудо. Она прошла всю Чечню – вдоль

и поперек, кругом и маленькими крестиками, будто вышивала на ней узор под названием «мать ищет сына». Никто его не видел, никто не узнавал, а фотография на груди жгла ей сердце. И тогда присела она на скамеечку – тут в Шали. А фото жжет. Вынула его, глядит на бумажное лицо сына, а он там улыбается, сердце у нее ноет, сосуды рвутся, слезы бегут по щекам, капают на фотографию, она их вытирает рукавом – чтобы не замочить, не исказить черты сына. И говорит: «Господи, мне бы хоть одним глазком увидеть его. Ты слышишь, Господи – хоть одним глазком». Поднимает голову, а мимо идет ее Алеша – с ведрами воды. И тогда она к нему прилипла. И теперь они вместе – в подвале, вдали от своего провинциального городка. И что будет дальше, она не знает.

А дальше был обстрел, и земляной пол подвала ходил под их ногами.

Наташа вышла из дома – не хотела возвращаться к телевизионщикам.

– Пойду, прогуляюсь, – предупредила она хозяина дома, стоящего у крыльца.

– Под обстрелом не гуляют, – спокойно возразил он, но за этим спокойствием она угадала не тревогу, нет, что-то другое. Скорее всего в нем говорил голос традиций, без изменения переходящих из поколения в поколение. Традиций, законсервированных далекими предками по одним им известному рецепту. И это традиционное блюдо, приготовленное на века, способно насытить весь чеченский народ, заставить

его грудью отражать все ветры перемен, обрушивающиеся на их маленькую родину, и жаждать свободы, как воды после соленой еды. Этот консервант въедался в их клетки, встраивался в генотип и неизменно присутствовал в материнском молоке. Чеченские матери не тратили слов – родившись, их дети уже знали, для чего были произведены на свет – для независимости и для противостояния. Матери знали – их дети сумеют приготовить блюдо по традиционному рецепту для будущих поколений, куда бы ни занес их ветер перемен. В любой точке мира они всегда оставались сыновьями своей маленькой твердой родины.

И сейчас этот консервант говорил хозяину, что из гостеприимных домов гости под обстрел не выходят. Гость не может погибнуть. Погибнуть может фоторепортер из Москвы, и ее смерть не будет иметь для хозяина дома значения. Он также усядется на пол перед клеенкой, поджав под себя ноги, запьет сладким чаем хлеб с сыром, и ему не придется проталкивать в горле комок. Но, находясь здесь, в Шали, и выходя из его дома, она погибать не должна. В доме ее плохо приняли, и она захотела уйти. Так скажут все – родственники и соседи, лично с Наташей не знакомые. Они будут передавать его позор из уст в уста. И позор этот начнет существовать обособленно от Наташи, имея к ней лишь косвенное отношение, а консервант, впитанный хозяином дома еще с молоком матери, будет делать свое дело – вступив в реакцию с людским осуждением, начнет вырабатывать токсины,

постепенно отравляя жизнь этого человека. Вот почему он не отпустит гостью одну, даже если придется рискнуть своей жизнью.

Наташе нравились эти традиции. Нравилось, что в любом доме ее могут накормить и уложить на самое лучшее место, просто постучись она в дверь. Дверь откроется, неважно, чем заняты хозяева дома. Двери гостям здесь всегда открыты. Она снимала с этих чужеродных традиций только верхний слой, видела лишь внешнее их проявление, и ей не хотелось вникать в их суть – они были слишком стары и глубоки. Так глубоки, что незнакомый с ними человек легко мог в них утонуть.

– Когда будут перезаряжать оружие, мы уйдем в убежище, – сказал он.

Наташа в очередной раз подивилась парадоксу, скрытому в этих людях – хозяин дома в любой момент мог спуститься в подвал, чтобы отнять жизнь у русского Алеши, и при этом без колебаний отдать свою жизнь за русскую Наташу, только потому, что волей случая она в его доме была гостем.

Она вышла за ворота и сделала глубокий вдох – в доме ей было нечем дышать. Курица, приготовленная хозяйкой, пока она сидела в подвале, в горло не лезла, хотя с утра Наташа почти ничего не ела. Уже стемнело.

Свистело где-то справа. И-и-и-и-и – летел выпущенный снаряд, и, казалось, весь мир замирал в ожидании – где он упадет? Все замирало на этой земле – человек, зверь, расте-

ние, камень. Только инстинкт самосохранения пульсировал внизу живота – лишь бы пронесло. Когда, коротко выдохнув, снаряд ухал о землю – у-у – можно было расслабиться – до полета следующего. И-и-и-и-у-у – пронесло. И-и-и-и-у-у – пронесло.

– Я тебя провожу до комендатуры, – нагнал ее хозяин дома.

– Не надо! – крикнула она и пошла быстрее.

– Не идите за мной! – обернулась на него снова. – Возвращайтесь в дом!

И-и-и-и – мир замер, из него высосали все звуки, кроме одного этого. Время понеслось очень быстро. Наташино тело двигалось быстрее. Она побежала, и сейчас была всего лишь живым существом, откинувшим все данное человеку цивилизацией за последние века, повиновавшимся одному только первобытному инстинкту – выжить. Летело где-то совсем близко. В животе что-то оборвалось еще до того, как снаряд ударился о землю. Она метнулась в сторону, упала на землю, замерла, но еще успела подумать, что не надо было утром мыть голову. У-у – очень близко. Земля подбросила ее и снова поймала, низ живота дернулся, мочевого пузырь надулся и опал, но можно было расслабиться. Она поднялась с земли, мышцы ног дрожали. Потрогала промежность брюк. Не обмочилась. Хотела заплакать, не получилось.

Хозяин дома лежал на земле, не шевелясь, придавленный грузом старых традиций. Подойдя ближе, она поняла, что его

больше нет, и вернулась в дом.

Тело занесли в дом, накрыли его простыней. Женщины не голосили. Осколком разорвало его печень. На том месте, где печень, на белой простыне выступило красное пятно.

– Можно его сфотографировать? – спросила Наташа.

Телевизионщики молча кивнули. Один из них был его братом. Эти люди уважали смерть, могли отдать жизнь за тела своих мертвецов, и она в этом еще убедится, покидая Буденновск. Но сейчас они хотели, чтобы Наташа сняла принадлежащий им труп и показала его отпечаток России – разрыв печени мирных жителей должен тронуть сердца русских людей.

Они расступились перед ее фотоаппаратом. Наташа встала прямо напротив трупа, оставив между ним и собой несколько метров. Простыня накрывала его с головой, но не дотягивалась до ступней, соединенных в пятках. Его синие носки были заштопаны в нескольких местах. Когда она вернется в Москву, этот снимок купит и напечатает какой-то популярный журнал, но заштопанным пяткам и печени на простыне не суждено было тронуть чьи-то сердца. Война продолжится, а у Наташи появится новая профессиональная привычка – снимать стопы убитых.

Старуха, наверное, мать, сняла со стены ковер. Пока мужчины заворачивали в него тело, она придерживала рукой низ живота, будто у нее под юбкой был спрятан арбуз и она боялась его уронить. Когда умирал ее отец, ее мать так же мол-

ча держалась за низ живота. Молчала ее бабка и молчала ее прабабка. Молчали все те женщины, которые были до них. И это женское молчание передавалось из поколения в поколение – вместе со старым рецептом. Арбуз ни разу не выпал и не покатился по полу к ногам их суровых мужчин. В старом рецепте не было ингредиента, очерствляющего сердца, и за многие поколения чеченские женщины не научилась смирять эту самую сильную мышцу в организме, но они научились молчать.

Послали за муллой. Мужчины сели на намаз. Хоронили уже сегодня.

Через час обстрел прекратился.

– Им подвезут новые снаряды, они перезарядятся и снова начнут палить, – обратился к Наташе брат убитого. – У нас полчаса. Сейчас придет машина из комендатуры и отвезет тебя в бомбоубежище. Мы завяжем тебе глаза. Не обижайся...

Ей завязали глаза шерстяным шарфом, от которого пахло стиральным порошком. После обстрела в городе было очень тихо. Люди бояться выходить из подвалов, догадалась она. Езда на машине к бомбоубежищу заняла двадцать минут. За это время шарф, закрывающий все лицо, стал влажным от ее дыхания. Ей казалось, водитель возит ее по кругу, не забывая поглядывать на часы – до начала нового обстрела оставалось несколько минут.

С нее сняли шарф, только когда она вышла из машины и

прошла несколько метров вперед. Большая железная дверь была первым, что она увидела после того, как ей развязали глаза. Наташа не знала, где она находится – в самом городе или за его пределами, но сразу поняла, что это бомбоубежище строилось еще в шестидесятых годах, когда советская власть могла опасаться новой угрозы извне, подобной Второй мировой. Вместе с сопровождающим она спустилась вниз и оказалась в полной темноте. Было сыро. Водитель включил карманный фонарик, осветил неровные бетонные стены. В тусклом свете Наташа не увидела на них разводов влаги, но по запаху поняла – они есть. Она намотала снятый с лица шарф на горло – под землей было холодно.

Бомбоубежище разделялось отсеками. Она вошла в один из них. В темноте не смогла разглядеть его размеров, но стены давили на плечи своей близостью, и она не сомневалась в том, что отсек мал. Ударилась коленкой обо что-то твердое. Поводила рукой – холодный железный брус, металлическая сетка. Кровать, догадалась она и бросила на нее сумку.

Обернулась. Дверь напротив открылась, из нее в коридор выполз неяркий желтый свет, так контрастирующий с темнотой, что, казалось, его можно потрогать. Оставив свои вещи, она вошла в открывшуюся дверь.

Алеша чистил картошку. Его мать сидела на железной кровати в той же позе, в какой Наташа оставила ее пару часов назад в подвале – сгорбившись и обхватив руками колени. Другой Алеша сидел на полу, прислонившись спиной к

холодной стене и запрокинув голову. Ей был виден только его подбородок, цыплячья шея и слабый кадык. Еще один пленник открывал жестяную банку с тушенкой. Их матери в платках и телогрейках – стояли у маленькой электрической плиты. Они повернулись в сторону Наташи, когда та вошла.

– Садись, – одна из них показала ей на табурет. – Скоро будем ужинать.

Наташе не пришлось представляться – им уже рассказали, что в Шали приехала русская журналистка. Она поискала глазами источник света. В желтом облаке горела лампа, прикрученная к стене проводами. Ее силы не хватало на весь отсек, свет лишь выхватывал из темноты контуры предметов и черты людей. Но звуки здесь были гулкими, отдавались от стен и расслаивались эхом, как и бывает в каменных мешках.

– Ну что, как там – в Москве? – спросила ее одна из женщин, ставя на плитку алюминиевую кастрюлю с водой.

Узнав, что она приехала из столицы, ей часто задавали этот вопрос: ну что, как там – в Москве? Что им на это ответить? Москва стоит – куда она денется? А сама Наташа кроме опостылевшей общаги, метро и недавно открывшихся по всему городу супермаркетов, почти ничего в столице не видела. В театры не ходила – ей хватало театра здесь, на войне. Но сейчас ей хотелось поддержать этих женщин, поднять им настроение хотя бы до утра, хотя бы на час или на пять минут. Она хотела заставить их снять платки и весело рассмеяться, ненадолго забыв о войне, о плене, о бомбоубежище.

– Я сейчас, – сказала она и выбежала в соседний отсек. Нащупала свою сумку, расстегнула «молнию», порылась среди объективов и мотков пленки. Нашла ножницы и вернулась, щелкая ими, к матерям.

– Так, мамашки, сейчас будем стричься, а потом фотографироваться! – скомандовала она.

– Ой, что ты, Наташа, – испугались они. – Нам сейчас не до стрижек...

– Стричься и фотографироваться! – строго повторила Наташа. – Развели тут траур...

Она подошла к одной из женщин, взяла ее за плечи и усадила на табурет. Сняла с нее платок. Та сопротивлялась, но не сильно.

Наташа щелкала ножницами, остригая седеющие пряди, ходила вокруг табурета, сопела, отдалялась на несколько шагов – полюбоваться на проделанную работу и говорила, почти не умолкая. Она умела включать дурочку. Дурочку, не замечающую всей серьезности вокруг происходящего, она играла просто мастерски. Ей было так легче жить – с дурочки нечего взять.

Она могла сделать прическу не хуже любого парикмахера. В дверь ее комнаты в общежитии постоянно стучали соседи – просили постричь, и она стригла, никогда не отказывая, денег за это не беря. Она всегда возила с собой ножницы – для нарезки пленки и стрижки волос. Остригая чужие волосы, чувствовала, как вместе с падающими на пол прядями

из голов уходят тяжелые мысли. Ножницы – расслабляют. А еще они помогали Наташе наладить с людьми контакт.

– Я не хочу стричься, – говорит мать Алеши.

Не меняя позы, она бросает на Наташу взгляд и снова прячет его под платком. Наташа все поняла – она думает, ей легко сейчас смеяться и шутить, потому что это не ее сын носит ведра воды, и сама она может хоть завтра отправляться на все четыре стороны – ее здесь никто и ничто не держит.

– Приведите себя в порядок, – мягко говорит ей Наташа.

– Для кого?! – с надрывом спрашивает женщина.

– Для своих сыновей, – Наташа заговорила голосом, который мог в любую секунду дать петуха. – Ваши дети – живы, здоровы. А это – самое главное. Не портите им настроение. Вы – мамы. Вы – сильные. И вы уверены, что вместе с ними спасетесь из плена...

Женщина медленным движением стянула с головы платок, как-то горько усмехнулась в него, но поднялась, расправила плечи в телогрейке и села на табурете.

– А еще я рисовать умею и вышивать – крестиком, и, вообще, я вся такая – рукодельница, – бубнит Наташа, посмеиваясь, кружась вокруг табурета и громко сопя.

За пару часов, пока на поверхности снаряды обильно сыпались на землю, она постригла всех матерей и их сыновей. Потом взялась за боевиков, включая водителя, который привез ее сюда с завязанными глазами.

Она стрижет, а все – пленники, матери, боевики – стоят

вокруг облупившегося табурета, смотрят, слушают. Хотя какое-то для них развлечение.

– Вот я в Вене недавно была – ездила фотоаппарат покупать. Там жуть как красиво, – тараторит она, играя на публику. – Закончится война, и поезжайте в Вену отдыхать. Это недорого – я на автобусе ездила. Или в Италию поезжайте. У меня сестра Ленка там недавно была. Она у меня – стюардесса на международных авиалиниях. Высокая, красивая. Говорит, там у них дома красивые стоят. И в Испании дома красивые... Какой-то, говорят, архитектор строил. Наверное, чокнутый. Дома вот-вот сваялся, а им – испанцам – нравится. А у меня в Испании подруга живет – Мари-Кармэн. Так вот эта Мари-Кармэн приезжала в прошлом году в Москву и влюбилась в одного моего друга, а он...

Наташина сцена – комнатка десять на десять. Ее реквизит – старый табурет и большие ножницы для нарезки пленки. Ее театр – театр одного актера. Ее зрители – люди, которым нужно забыться хотя бы на пару минут.

В каменном мешке, вырытом и укрепленном бетоном после Второй мировой, у людей поднимается настроение, они перестают замечать холодные стены вокруг, не думают о том, что готовит им завтра, о том, что на поверхности, над их головой, железо и порох вспахивают землю. Их воображение рисует Вену и Испанию, кривые дома, чокнутого архитектора и высокую красивую Ленку. Они улыбаются. Давит в груди у одной только Наташи.

– Ты устала, иди, поспи, – говорит ей мать Алеши, когда все головы острижены.

Наташа, внезапно ощутив тяжесть, накопившуюся в ногах за весь день, лениво плетется в соседний отсек за своей сумкой. В бомбоубежище становится очень холодно. Ее морозит от усталости.

Дверь в комнату, которую она уже называла своей, плотно закрыта. Наташа наваливается на нее коленкой, дверь с шумом распахивается, и она – в тускло-желтом свете на середине отсека. Двое мужчин в камуфляжных куртках с серо-черными разводами сидят на кровати. На одном – серая каракулевая шапка, на другом – черная, вязаная, с зеленой лентой, повязанной вокруг. На ленте нарисован поднятый вверх указательный палец. Мужчины держатся за концы большого листа бумаги – зацепили пальцами его уголки. Наташа успела разглядеть на нем карту местности. Они оторвались от листа и удивленно уставились на нее. Их лица показались ей знакомыми. На спинке кровати висел автомат.

– Ребята, я где-то тут свою сумку оставила, – обращается она к ним.

Ее сумка лежит на полу – рядом с кроватью.

– А вот она, – Наташа поднимает сумку с пола. – Ну, ладно, извините за беспокойство. Я пойду...

– А вы кто? – спрашивает ее мужчина в каракулевой шапке.

– Да так, – скромно отвечает она, открывая дверь, – мест-

ный парикмахер.

Она затворяет дверь, стоит, держась за ее холодную ручку, не уходит. Где-то я его видела – этого мужика в каракулевой шапке, думает она, и снова открывает дверь.

– Извините, пожалуйста, – вежливо говорит, просовывая голову внутрь.

Мужчины снова отрываются от карты и молча смотрят на нее.

– Вы случайно не Масхадов? – обращается она к тому, что постарше.

– А что? – спрашивает он.

– Я вам фотографии привезла. Помните, снимала, когда вы с солдатскими матерями встречались?

– Помню. Давай фотографии, если привезла.

– А я их уже отдала.

– Кому?

– Мужчине в комендатуре, он обещал вам передать.

– Какому мужчине?

– Такому – с бородой и зеленым бантиком на голове...

– У нас сейчас с бородой и бантиком вся Чечня ходит, – серьезно говорит он, а сидящий с ним рядом усмехается в бороду.

– Вы же Масхадов? – опять спрашивает Наташа.

– Ну, Масхадов... – соглашается он.

– А можно я вас сфотографирую? – просит она.

– Фотографируй, – спокойно разрешает он.

Он отдает карту другому, закидывает ногу на ногу, обхватывает колени руками и сидит на кровати, прислонившись к ее спинке. Он ни разу не посмотрел в объектив, а Наташе было неудобно его попросить. На пленке отпечатались его слегка оттопыренные уши, казалось, это на них сидит каракулевая шапка, замок сцепленных на коленях пальцев, чисто выбритый подбородок, тонкий шрам над верхней губой и седые виски почти такого же цвета, как его шапка.

Она топчется перед ним с фотоаппаратом, ждет, пока он поднимет глаза, чтобы схватить их на пленку. Она похожа на боксера, который пытается усыпить бдительность противника, найти его слабое место и нанести удар. Но его взгляд избегает ее объектива. Наташа точно знает – у Масхадова есть слабые места, но он не желает обнажать их перед ней. Всему свое время, думает она, выходя из отсека.

Снова стоит в темном коридоре и держится за ручку только что закрытой двери. Усталость как рукой сняло. Теперь ей жарко.

Блин, думает она, а второй – кажется, полевой командир Шамиль Басаев. В феврале девяносто пятого его фамилия все чаще звучала с экранов телевизора.

Наташа толкает дверь. Пока ее не было, мужчины успели в очередной раз углубиться в изучение карты. Тот, что с бородой, водил по ней указательным пальцем. Он так и замер – с пальцем на карте, когда Наташа снова появилась на середине отсека.

– Извините, а вы случайно не Басаев?

– А что? – спросил он.

– У меня для вас фотографии.

– Тогда – Басаев...

– Только я их тому же мужчине отдала...

– Понятно, – полевой командир поворачивается к Масхадову. – Значит, фотографий не дождемся...

– А можно я вас тоже сфотографирую?

Он почесал пальцем бровь и сел к ней вполоборота. В начале первой войны чеченские боевики любили фотографироваться. Без лишних уговоров они позировали журналистам из России, Европы, Америки. Особенно любили фотографироваться в камуфляжной одежде, с оружием и подняв указательный палец вверх, что означало – Аллах един, и нет Бога, кроме него, а Мухаммед – его пророк. Напрягали мускулы – для сходства с Рембо в исполнении Сильвестра Сталлоне. Хотели славы, хотели, чтобы там, в Москве, их боялись, а Басаев, так казалось Наташе, хотел славы еще больше других. Во время второй войны фотографироваться боевикам надоело.

Басаев улыбнулся, и от этой улыбки вполоборота кончик его длинного носа загнулся к усам, глаза сузились, прикрывая веками зрачки. Улыбка могла обмануть – она скрывала тот взгляд, который появлялся у него внезапно, когда глаза останавливались в одной точке, стекленели и, посмотрев сквозь их стекло, можно было увидеть черные тени, запертые

за колючей проволокой сетчатки. В тот вечер в его улыбке Наташа видела только борца за независимость, приносящего себя в жертву маленькой, но гордой родине, взявшего в руки автомат, но с радостью променявшего бы войну на мир во всем мире. Тени плясали на стене, но тогда она не смогла прочесть в них предсказания.

– Не улыбайтесь! – сказала Наташа тоном, каким в фото-салонах говорят: «Не моргайте!» – и Басаев улыбнулся еще шире.

– А можно я сниму вас двоих – с картой? – спросила она Масхадова.

– Только карту не снимай, – разрешил он, ни разу не улыбувшийся за время съемки.

– Не буду, – пообещала она.

Наташа никогда ни к чему не присматривалась и не прислушивалась. Она ничего не слышала и ничего не видела. Так ей было легче жить. Ее спросят – а она не знает.

Они снова взяли в руки карту, немного ее приподняв, чтобы Наташе была видна только ее обратная сторона. Масхадов смотрел в карту и ничего не видел – не мог забыть о присутствии фотографа. Басаев, напротив, ушел в нее с головой – его зрачки расширились, а указательный палец пополз по выбранному маршруту. Может быть, к Буденновску – тогда она даже не знала, что такой город существует. Когда он оторвал глаза от карты и посмотрел на Наташу, что-то в его взгляде заставило ее тихо вздрогнуть. Она быстро об этом забыла –

так ей было легче жить, не придавая значения мелочам. Басаев снова ей улыбнулся, и скажи ей кто-то тогда, что этот человек готовит политический теракт, что через несколько месяцев он войдет в буденновскую больницу творить свою справедливую войну среди женщин и детей, она бы ни за что не поверила.

Пройдет несколько недель после этой их встречи, она вернется домой, проявит пленки, распечатает фотографии на матовой бумаге. Перетасует пачку фотографий, как колоду карт, станет рассматривать их вперемешку – Алеши, Масхадов, мамыши, трупы, Басаев. На одной фотокарточке, с которой на нее посмотрит полевой командир, она что-то ухватит, что-то едва заметное и пока непонятное ей самой. В том же девяносто пятом ее снимки, на которых Басаев с Масхадовым изучают карту при тусклом свете в бомбоубежище, будут опубликованы почти во всех серьезных изданиях.

В ординаторскую вошел Сергей Тополь и присел на край стола рядом с Басаевым. Из окна ярко светило солнце. День только начинался. Никто не знал, чем он закончится, но солнцу и его, возможно, последним лучам не радовались. Басаев устал – это было заметно и отражалось на всех.

Тополь достал из кармана вчетверо сложенный лист бумаги, развернул его и с какой-то деланой бравадой спросил у Басаева: «Не подпишете?» Тот какое-то время смотрел на бумагу, а потом усмехнулся и оживился. Видно было, что

ему идея понравилась. Он расписался на бумаге и подал знак своему помощнику – крупному боевику по имени Асланбек. Ближайших помощников у него было двое – этот и еще один – с таким же именем, но значительно меньше ростом. Именно здесь – в буденновской больнице – врачи первыми прозвали их «Асланбек Большой» и «Асланбек Маленький». Потом их так называли уже всегда.

Асланбек Большой достал из кармана штанов печать, завернутую в тряпочку, развернул ее и шлепнул по бумаге. Когда Наташа, посмотрев через их плечи, увидела, что бумага была командировочным удостоверением газеты «Коммерсантъ», на котором теперь красовалась печать с изображением волка и подпись Шамиля Басаева, отметившего командировку журналиста, она подумала, что Тополь совсем охренел. А потом поняла, что ему, как и всем им, очень страшно.

Четко осознав свой страх, Наташа по привычке почувствовала его внизу живота. Матка, яичники и кишки – все в нем скукожилось, сплелось в один комок. Воздух вокруг уплотнился, ей казалось, его можно нарезать ножом, лежащим на столе. Надо молчать и отступать к двери – от стола, на котором лежит завернутый в белое хлеб. Прямой опасности стол для нее не представлял, но именно в тот момент, после отчаянной бравады Тополя, она почувствовала, как ее окутывает черное облако страха. То была бравада на грани, когда не знаешь, как поступишь в следующий момент – снова сложишь удостоверение и вернешь его в карман, усме-

хаясь одним уголком рта над своей способностью шутить в самые отчаянные моменты жизни, или, соскочив со стола, громко завопишь и побежишь по коридору искать выход из больницы. Тополь аккуратно сложил удостоверение, похлопал рукой по карману и усмехнулся одним уголком рта. И еще в этот момент Наташа поняла: ей нужно отснять как можно больше пленок.

Страх всегда ассоциировался у нее с черным цветом, но она делила его на разные оттенки. Был страх, убивающий все звуки вокруг, – темно-серый. Его, скорее, можно назвать предчувствием опасности. Однажды она пережила такой в Самаре, когда поздно вечером возвращалась домой. Дошла до подъезда и услышала тишину. Быстрее, чем мысли пронесли в голове, метнулась к подъездной двери, рванула ее на себя, одним махом взлетела по лестнице, руками, трясущимися от топота ног снизу, нажала на звонок, пережила вечность секунд, пока мать открывала ей дверь, ввалилась в квартиру и захлопнула дверь за собой. Кто за ней тогда бежал – маньяк-насильник или грабитель – она так и не узнала. Выкинула случившееся из памяти, как незначительный эпизод. Только страх остался – притаился внизу живота и еще долго пульсировал в нем каждый раз, как она в темноте подходила к подъездной двери.

Был страх второй – светло-серый, незначительный. Когда не можешь объяснить, что не так, но жопой чувствуешь – что-то не так. И пытаешься убраться от этого места подаль-

ше, потому что твоя жопа начинает жить обособленно от тебя, превращается в тепло-чувствительный орган, который определяет, где холодно, а где – горячо. Она хорошо запомнила эту разновидность страха, когда в одну из своих поездок вместе со знакомыми журналистами возвращалась из Ведено на автобусе в Грозный. Журналисты были новичками – впервые оказались в Чечне – и внимательно прислушивались ко всем советам Наташи, которая была здесь уже трижды, неделями мотаясь автостопом по селам. Ей была чужда политика, диктовавшая правила игры в солдатики, она ничего не понимала в расстановке военных сил. Ее интересовали только люди – с той и с этой стороны. Она зевала и, шаркая кроссовками так, чтобы было слышно, выходила из комендатуры, когда боевики начинали обсуждать при ней что-нибудь важное. Она не приглядывалась и не прислушивалась, демонстрируя им свою невнимательность. Но, несмотря на все это, у нее выработалась своя система распознавания опасности, в которой были задействованы глаза, уши и... жопа. Например, не увидев на въезде в населенный пункт бабкок, торговавших семечками, она по опыту знала – сейчас начнется обстрел. О том же говорила тишина, накинувшая стеклянный колпак на все село. Жители прятались в подвалах, откуда не доносились их испуганные голоса. Не мычала даже скотина, потому что в такой тишине собственное мычание могло напугать ее еще больше. А ощутив без видимых и слышимых причин мороз по спине, спускающийся по по-

звоночнику вниз – к копчику, Наташа была почти уверена – опасность где-то рядом.

В тот день автобус остановился в нескольких километрах от Грозного – журналистам срочно понадобилось в туалет. Вышли из автобуса. Наташа приблизилась к обочине. За дорогой начиналось поле. Холодок пробежал по спине, спустился вниз. Она вернулась к автобусу – потеплело.

– Куда пошли?! – заорала она на журналистов, повернувших к полю. – Не ходите туда! Ссыте прямо здесь!

– Почему?!

– Сказала же, придурки, ссыте здесь!

– Но почему?!

– Не знаю. Жопой чувствую...

Позже, уже после Буденновска и окончания первой войны, снимая работу российских минеров в Грозном, она узнает, что поле возле той дороги было заминировано. Двое молодых саперов, держась за животы и покатываясь со смеху, войдут в школу, в которой разместился их отряд.

– Что случилось? – спросит Наташа, давя сигаретный окурок о чайное блюдце.

– Там... там... – с трудом выдавит один, хлопнет себя по коленкам и в изнеможении повалится на пол, и они оба будут корчиться у нее под ногами, сотрясаемые толчками смеха.

– Там у нас сейчас... двоих... на mine разорвало, – задыхаясь, хором скажут они и снова покатаются по полу.

Наташа вынет из пачки новую сигарету, медленно под-

несет к ней зажигалку и, глубоко затягиваясь, будет молча смотреть на их корчи.

– Ребята, а что смешного? – спросит она, когда они, наконец, затихнут.

– Ну как что? – скажет сапер, поднимая на Наташу лицо в веснушках, налившихся кровью от только что душившего смеха. – Мы представили, что было бы, если бы на их месте была ты...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.